Юрий Геворкян

Календаристы

Юрий Геворкян

Календаристы

«Эксмо»
2020

Геворкян Ю.

Календаристы / Ю. Геворкян — «Эксмо», 2020

ISBN 978-5-04-117371-5

Эта книга о человеке, который застрял в феврале. У всех может быть март, май, июль и так далее. А у него всегда только февраль, февраль, еще один февраль. Все в жизни Февраля идет медленно и неправильно, пока про него не узнают календаристы, такие же застрявшие во времени неудачники, и не приглашают его к себе на регулярные встречи, чем-то похожие на встречи анонимных алкоголиков. Календаристов немного: бледный во всех смыслах писатель Октябрь, Чёртверг – алкоголик, считающий себя чёртом, Май – от которого постоянно пахнет кровью и прошлое которого никому неизвестно, и Июль – девушка, которой повезло застрять посередине лета… Метафорический роман Юрия Геворкяна читается как притча о человеческих судьбах, живущих по определенному календарю, но иногда его нарушающих…

ISBN 978-5-04-117371-5

© Геворкян Ю., 2020
© Эксмо, 2020

Юрий Геворкян
Календаристы

В оформлении обложки использована иллюстрация:
© Helenaa / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

* * *

60-е февраля

Обычно каждый мой жалкий день заканчивается так – я наблюдаю, как бесформенное солнце медленно запихивает себя в трубу дома напротив. Какая ослепительная насмешка, солнце живет через дорогу, но не греет меня, жадина, отворачивается! А я, как язычник, как заводная обезьяна, танцую у окна, пытаясь ухватить хотя бы лучик, и ноги в шерстяных носках скользят по лысому полу.

61-е февраля

Мой быт и раньше был неустроен, а теперь я и вовсе перестал бороться за то, чтобы его хоть как-то облагородить. Да, у меня полно времени, чтобы только и заниматься уютом своего жилища. Говорят, домашние хлопоты удачно решают проблему подавленности духа. Что же, я пробовал бороться с февралем мытьем посуды и протиркой полов и могу сказать не без гордости, потому что бился я отчаянно и сосредоточенно, что февраль одержал надо мной победу, не прикладывая усилий.

Никто не хочет видеть меня своим соседом, поэтому теперь я живу один. Мне всегда холодно, я закрываю все окна даже в самую жаркую погоду и включаю обогреватели, когда на улице +25. Моя личная погода (есть некое тщеславие в этой фразе – «личная погода», от однообразия которого я, однако, уже утомился) никак не связана с погодой обычных людей, поэтому все соседи либо сбегали, либо выгоняли меня самого, когда отступали холода. А пока стояла зима, я еще мог маскировать… свой недуг? Свое проклятье? Свою чужеродность? Я понимаю их, сбежавших и выгнавших, и сердился только если на прощание, только тогда, когда дверь уже захлопнулась и назад нет возможности вернуться, меня называли психом. Да, двери в нашем городе невероятно тонки, и через них можно услышать любые оскорбления. Я не псих!

Когда февраль только настал, я не мог мириться со своим одиночеством. Мне нужна была тихая компания, кто-нибудь, кто будет рядом, ничего не спрашивая и ничем во мне не интересуясь. Я переехал из дома, где все началось, в поисках такого человека. Меня не волновало, где будет новая квартира, на окраине ли, в центре, какого цвета в ней будут обои и цела ли плитка в ванной. Мне нужен был сосед, кто-нибудь незаметный и равнодушный. Тогда (по моему идиотскому календарю, наверное, несколько сотен дней назад, исчисление в месяцах и годах мне недоступно, у меня всегда один и тот же нудный, сероватый февраль) я еще ценил человеческое общество. Если быть честным (поздно, слишком поздно думать о честности сейчас!), тогда я даже не думал, что февраль так до смешного – а смех-то истерический! – затянется. Февраль был в городе, февраль был на сердце, но я считал, что такой садистской гармонии отведено недолго. По-моему, когда календарный февраль привычно растаял перед мартом, мой сосед первым понял, что со мной что-то не так. Он перестал быть равнодушным и стал подозритель-

ным, а это всегда плохой знак. Когда весна раздвинулась, выпуская понемногу из себя лето, я все еще умолял его не выключать мои обогреватели и не открывать на ночь окна. Сначала он терпел, и на удивление долго, потом перестал и стал советовать сходить по врачам, даже потратил свое время (а я догадывался, что оно у него драгоценнее моего), чтобы найти мне пару специалистов, будущих светил медицины, а когда я не послушал, то мягко, в привычном незаинтересованном тоне потребовал от меня съехать. Я съехал и стал искать более понимающих соседей. Увы, все они оказались личностями с разными наборами персональных странностей, принять которые я не мог. Вот они-то были настоящими психами, а не я! Я менял соседей всю весну и все лето и почти всю осень истратил до конца. В конце ноября (так приятно и так сразу больно вспоминать и записывать названия других месяцев, а не только февраля) я нашел соседа на зиму. В итоге, правда, с ним повторилась история точь-в-точь такая же, как и с первым. Круговерть переездов мне надоела, с каждым новым я терял какие-то вещи, забывал на старых квартирах мелочи, беднел бытом. Я бы мог вернуться за ними, но кто бы меня пустил? Я только услышал бы из-за двери обидные, неверные слова и побрел бы назад. К тому же мне ужасно надоело бояться прихода весны и сопутствующего ей позора. Хотелось забиться в свой угол и тихо считать дни там, никому не видимым, никому не нужным. Я так и сделал и теперь могу быть в своих четырех стенах как хочу, хоть в пуховике, хоть в парке, если февраль, сжалится надо мной. Квартира у меня маленькая, скромная, тихая, незаметная, как и я сам теперь. Однако был ли я когда-нибудь другим? А может, и был, но теперь уже не разберешь, что это – воспоминания или фантазии о прошлом? Впрочем, даже в моем пыльном, перетопленном углу февраль нашел, как меня помучить. Квартиру я смотрел поздним вечером, поэтому не знал, что солнце садится прямо напротив моих окон зимой, летом, круглый год. Оно дразнит меня, показывает золотой язык, складывает кукиш цвета яичницы, но не дает тепла. Хочется иногда перегнуться через подоконник и сорвать солнце с неба, бросить людям вниз и посмотреть: кто побежит приколачивать его назад на небо, а кто станет топтать. По моим подсчетам, топтунов будет (должно быть!) больше. Занавески не помогают, даже через самые толстые, почти свинцовые, солнце пробивается огненным силуэтом, привольно разваливается на моем столе, на полу, на стенах, словно говоря мне, что все мое – его, а я сам ему не нужен. Ненавижу солнце! Больше солнца я ненавижу только счета за электричество. Мои обогреватели (меня угнетает, что иногда я думаю о них не как о предметах, а как о молчаливых друзьях или, по крайней мере, как о замене домашним животным, впрочем, я держусь – пока – и не даю им клички) включены всегда: утром, днем, ночью, утром, днем, ночью, утром, днем, ночью. Иногда один из них умирает, и я узнаю об этом, потому что дома становится холоднее. Удивительно, что ежечасная каждодневная работа непосильна для этих приборов. Они должны работать несколько часов в сутки и только в холодные деньки, иначе что-то у них внутри выходит из строя, как сердце у загнанной лошади. Их изобретателям не приходит в голову, что где-то человек может мерзнуть постоянно, а не только по расписанию сезонов! Это плохие изобретатели, лишенные фантазии и технической выучки. Так вот, когда выходит из строя какой-нибудь из обогревателей, а одновременно у меня работают как минимум два, иногда, когда февраль необъяснимо жесток ко мне, то и все три, я иду в магазин и покупаю новый. И тут мне повезло дважды. В первый раз – когда через месяц после моего переезда недалеко от моей квартирки открылся большой магазин с разными приборами для дома. Во второй раз – когда я выяснил, что самый дорогой и самый дешевый обогреватели дают тепло одинаково и из строя из-за сверхработы выходят одинаково. Поэтому на замену я беру самый дешевый экземпляр, хоть какая-то экономия. А экономить мне приходится, потому что счета за электричество – разорительные, я жду их с ужасом и радуюсь, как ребенок, получивший на день рождения давно вымаливаемый подарок, когда удается заплатить меньше, чем месяцем раньше. Такие вот бедняцкие радости.

62-е февраля

В войне с февралем я стал запасливым и предусмотрительным: у меня три обогревателя. Два работают всегда, а третий на подстраховке, включается в бой за тепло, только когда два не справляются или один перегорел. Однажды, когда у меня еще было всего два обогревателя, один из них вышел из строя одновременно с тем, как я заснул. Через несколько часов я проснулся от жуткого холода и выяснил причину, но исправить еще ничего не мог – магазины домашних приборов не работают круглосуточно, и мне пришлось мерзнуть до самого утра. Как же я ненавидел свои часы в ту ночь! Я подозревал их в сговоре с февралем, так медленно они передвигали свои черные стрелки по белому циферблату, словно мимы, передразнивающие туриста, притормозившего с задумчивым ртом перед витриной магазина, который все равно, как ни прикидывай, окажется не по карману. Закутавшись в одеяло у окна, я проверял время по солнцу, совсем забыв о том, что оно жадный предатель. Призраки моих надежд нагоняли на меня тоску до самого утра. С тех пор я не даю февралю шансов повторить подобную вредность. Я подготовлен и уже не так самонадеян, как в первые дни, но проблема в том, что к февральскому холоду привыкнуть нельзя. Февраль все время играет со мной, меняя правила при каждом удобном случае. А я, безусловно, проигрываю: сначала разгромно, теперь доблестным упорством почти вытягиваю ничью, но все равно отступаю. Сегодня холодно, завтра будет холоднее, послезавтра мороз будет сушить мне глаза, как только я выберусь (зачем только?) из-под одеяла, а потом… потом февраль начнет водить меня за нос намеками на скорое прощание, но, как только я расстегну верхнюю пуговицу на своем пуховике, тут же запрыгнет мне за пазуху и начнет колотить в грудь, сбивая с ритма сердце. К этому нельзя привыкнуть, поэтому все мои мысли всегда о холоде, иногда я отвлекаюсь от них, пишу, просто чтобы не забыть, как мыслит нормальный человек. Помогает ненадолго, помогает не всегда. Порой я чувствую, как посланный февралем холодок раньше времени связывает мне руки, и тогда стараюсь написать как можно больше, хоть что-нибудь. Научиться писать в перчатках у меня не вышло, поэтому приходится бросаться с головой в судьбу и надеяться на ее милосердие. Поэтому мне нужно три обогревателя – не меньше! Правда, мне кажется, что, несмотря на мои частые визиты в магазин техники, мне там не слишком рады, хотя я тщательно готовлюсь к выходу в свет и стараюсь на людях не проявлять симптомы моего состояния: от холода трясущиеся руки, мелко дергающаяся челюсть, будто я на грани нервного срыва. Даже шапку стараюсь сдвинуть как можно дальше на затылок, мол, она у меня на голове не для тепла, а чтобы немного приукрасить свой заурядный внешний вид. И чем больше я оставляю денег в том магазине, тем более холодными взглядами меня встречают, а провожают такими, перед которыми отвернул бы в сторону даже самый мощный ледокол.

К таким взглядам, как к постоянному, но так и не ставшему незаметным морозу, нельзя привыкнуть. Только в мирке своей квартирки, слишком душном для любого другого человека, я могу… Да что я могу? Отдохнуть? Спрятаться? Ждать, променяв жизнь на терпение? Моя квартира (я избегаю даже называть ее домом) – не моя крепость, она моя камера. Считает ли пленник, что его заточение – это отдых от мира, пустяки, просто курорт не самого высокого пошиба? В любом случае свою точку зрения ему есть с кем обсудить, с сокамерником или с тюремщиком, рискуя, правда, остаться без еды или получить палкой. А я в одиночной камере и сам себе тюремщик, и оба мы друг другу надоели, и только холодно молчим и отворачиваемся, ждем каждый по-своему, когда закончится срок.

63-е февраля

А случается же, что ритмы моей собственной жизни и мира за окном расходятся в мою пользу. Например, когда идет дождь. Я очень люблю такие дни. И поэтому очень ценю их

редкость. Вот когда я только встретил ее, летние дни часто были дождливыми, а этим летом все не то, да и не про это сейчас. Так вот, когда идет дождь, все люди куда-то разбегаются и улица перед моим домом становится стальной и пустынной. Может повезти так, что на несколько мгновений (или самый большой выигрыш – несколько минут) на улице не происходит совсем ничего. Дома втянули в себя охающих, чертыхающихся людей, машины застыли слегка непрямо после спешной остановки, кошки разбежались по подвалам, с недоумением фырча. Нет ни звука, кроме звука дождя, ни движения, кроме кругов по лужам. И чем сильнее дождь, тем решительнее и быстрее прячется от него весь мир и сидит по своим укрытиям, дрожит (я воображаю) нервной дрожью оттого, что пришлось прервать все дела, что его обычный ритм был так бесцеремонно нарушен.

64-е февраля

Про город, в котором я скитаюсь, можно сказать одно – этот город мне не родной. Там, где я родился и вырос, не скучно и даже бойко, хотя порой и со слишком кровожадным акцентом. А город, где меня настиг февраль, весь состоит из серых и золотых лезвий. Если в нем заблудиться, то можно потихоньку терять по куску, по кусочку, по кусочечку, пока от тебя не останутся только кости, удерживаемые вместе лишь наивной уверенностью, что из этого города можно найти выход. Этот город выпустит тебя, когда захочет, тут у человека нет никакой власти решать свою судьбу. Если город не забудет. Город постоянно забывает, слишком много в нем наивных, перешедших границу жизни, но не признавших еще смерть скелетов, за всеми не уследить. Каждый день в этом городе я ощущаю, как трещит мой хребет, но пока держится. У меня есть свои хитрости. Например, я сижу дома и не брожу по лабиринту лезвий, поэтому пока еще цел, хотя и не уверен, сколько мне еще осталось. Но в последнее время дикая мысль не дает мне покоя: может, я смогу уйти из города, сбежать, пока он играется с другими, более интересными жителями. На самом деле я надеюсь, что я сбегу не от города (в конце концов, я, по-моему, люблю его восторженной безответной любовью), а от февраля. Обману февраль обещанием вернуться и не вернусь. Отправлюсь куда-нибудь, где настолько хорошо, что даже февраль – это усеченная на три дня копия июля или августа. Там всегда будет тепло, я забуду про круглосуточные шерстяные носки, про шапку с вислыми ушами, мне больше никогда не придется идти в магазин за новым обогревателем. Я смогу смело, но с благодарностью после пережитого смотреть на мир. А мир, выделяя меня за мои мучения, будет по-свойски, в качестве неисчерпаемой награды, подбрасывать удачу за удачей. Золотые лезвия этого города в том далеко-райском месте превратятся в золотые цветы и женщин с золотыми волосами. И солнце, да-да, тоже золотое, мягкое, будет в том городе мне особым другом. Оно, конечно, будет принадлежать всем людям в равных частях, но мне доверит самую сокровенную свою внутренность. Прислушиваюсь к себе и делаю вывод: да я достиг такой степени отчаяния, что во мне пробудилась вера фанатика! Страх еще шипит, как кошка, встретившаяся с никогда прежде не виданным соперником, но отступает. Решено! Я еду в южный город, в котором февраль всего лишь слово, существующее для названия того, чего никто никогда не видел.

65-е февраля

Выбрать город для бегства (для спасения? я еще не определился) было легко: в конце концов, в наших широтах райских местечек не так уж много, а ехать далеко я опасаюсь. Нечего тащить свои чудачества за границу! Управиться с поездкой было куда сложнее. Скажу так: я мог бы выбрать себе на завтрак любое, самое экзотическое блюдо, доступное только, например, князькам в индийских горах или японскому императору, но не смог бы его себе позволить. Причины: далекость этих чудесных стран, несхожесть климатов и – тут меня от приступа

неблагородной бедности охватывает кашель – деньги. Деньги, увы, всегда встают на пути самых безобидных планов. Путешествия стоят немало, и я этого не учел – наверное, потому, что моя жизнь уже давно состоит из одних и тех же трат на одни и те же вещи. А если долго отдавать одинаковую сумму за одну вещь, то несложно забыть, что она вообще чего-то стоит. Зато увлеченность фантазиями бесплатна! Если бы я мог выставлять свои фантазии на продажу, уже был бы богатейшим человеком; по крайней мере, мог бы потратиться на временный переезд в другой город, не высчитывая последние гроши. А я ведь посчитал: выходило, что лишних денег у меня сейчас немного. Если честно, я даже не считаю их лишними: так, мелочь на всякий случай, если, например, попадется обогреватель, который проживет меньше минимального срока, или случится пожар или другая неприятность встряхнет мою промерзшую жизнь (тут я, вполне возможно, даже обрадуюсь – хоть какие-то перемены). Живи я другим месяцем, не таким неприветливым и вредным, то нашел бы, чем утешиться, ведь, несмотря на однообразную исключительность моей жизни, я остаюсь обычным человеком, и мне так важно чувствовать это. Но можно было бы расстроиться: исключительность исключительностью, а что в ней толку, если я даже поехать никуда не могу. Я предпочел расстроиться, потому что этот вариант проще. Но ненадолго.

Они держали меня крепко: состоящие из воспоминаний, чужих впечатлений и собственных максималистских желаний вид моря, цвет моря, запах моря и, если неудачно увернуться от прибрежной волны, вкус моря. И солнце – в том городе (с лучшим климатов в стране, как обещали рекламы и рекламки) даже солнце было другим: оно было братом, другом, помощником, щедрым, честным и равным для всех, а не этот надменный шут, позолоченный калека, заменяющий солнце в моем нынешнем городе. Это солнце, это море, это тепло, эта свобода – они стоят любых денег, говорил я себе, ложась спать, вставая, идя в туалет, наливая чай, меняя носки, принимая душ, жуя бутерброд, делая уборку, моя посуду (особенно часто – моя посуду), смотря прогноз погоды по телевизору (даже чаще, чем моя посуду), читая, просто сидя сиднем без дела и смысла. Я не верю в удачные совпадения, вернее, давно уже утратил эту веру, но, как только я стал думать о деньгах на поездку, перестали ломаться обогреватели! По моим прикидкам, один из них должен был не выдержать непосильного графика уже две недели назад, но все еще работал, как новый. Я быстро пересчитал бюджет заново, с некоторыми оптимистическими допущениями: выходило, что если он протянет еще неделю, то я смогу позволить себе пожить в нормальном гостиничном номере, где белье меняют раз в три дня, хотя окна выходят на свалку, лишая постояльца и приличного вида, и возможности их открыть, чтобы подышать морским воздухом.

Сколько стоит мое избавление от февраля? Разве на волю можно повесить ценник, чтобы он болтался, как висельник? На что я буду жить, когда вернусь? Вопросы, вопросы, вопросы роились в моей голове, жалили мозг. «Да что я мелочусь!» – напускался я сам на себя и находил ответы:

• избавление стоит любых денег,
• история знает случаи, когда свобода покупалась, и, может статься, это тот самый случай,
• если я вернусь свободным человеком, то смогу отказаться от трех обогревателей и весной и летом экономить на электричестве, а половину зимнего гардероба продам. Скорее всего за бесценок, потому что в делах экономических я слишком плох, но ведь какие-то деньги получу!

Ответы были, признаю, натянутые, легкомысленные, недоказанные опытным путем, но им хотелось верить. Человек более въедливый заметил бы, что ответы – и не ответы вовсе, а

обходные пути вокруг вопросов, не до конца проложенная по минному полю тропинка. Тогда бы я предложил пожить этому неудавшемуся саперу (а все же это лучше, чем сапер-неудачник) на моем месте с месяц, из вредности не уточняя, что месяц будет бесконечным. И если бы такой трюк удался, то стал бы моим спасением из февраля, от февраля. Но я один, и никого рядом нет, и спасаться я буду собственными усилиями, не опускаясь до хитростей из сказок для самых маленьких.

66-е февраля

Прогноз погоды вызвал во мне злой смех. На экране была красивая деловая женщина. Обычно у нее на лице нарисована улыбка. Мастера телевизионного грима могут заставить улыбаться даже покойника, а женщина была вполне – да? – живая. Сегодня ее глаза, губы, нос и подбородок все по отдельности, каждый в меру способностей гримера сообщал зрителю тревогу. Женщина обещала рекордную с какого-то года жару. Предупреждала: будьте осторожны, не выходите на улицу без острой надобности, детей вообще лучше держать на привязи и не пускать ни в школу, ни в сад. Если они, конечно, вам еще не надоели. Но это уже мысль от меня, а не от по-матерински обеспокоенной ведущей прогноза погоды. Я посмотрел в окно. На улице и правда все плавилось, как будто на пейзаж кто-то набросил целлофановый пакет, слабо трепещущий на ветру.

67-е февраля

Иногда дни становятся немного теплее. Или, лучше сказать, не такими холодными. В такие дни я испытываю униженную радость, как бедняк, которому впервые за несколько дней бросили мелкую монетку или которого проходящий мимо доброхот одарил едва теплой булкой, вытащенной из дорогой итальянской сумки. Конечно, такой день лучше обычного, но как же он незначителен и несчастен по сравнению даже с серостью самого непримечательного дня обычного человека. Но как бедняк в брошенную ему булку, я вгрызаюсь в такой день, и мне не хватает терпения прожить его медленнее, насладиться часами и минутами, из которых он состоит. Я пожираю такой день так быстро, что потом у меня горит голова. Именно в такие дни я становлюсь незнакомо, будто и не я это вовсе, смел и выхожу из дома. Снаружи все еще холоднее, чем у меня в квартире (даже если стоит жара и люди идут по теневой стороне рассеченных солнцем улиц), но уже терпимее. Именно в такие дни я стараюсь выполнять дела, которые хоть как-то соединяют меня с миром, – например, хожу в магазин, чтобы запастись едой. Но тут есть своя сложность. С одной стороны, я не знаю, когда еще настанет такой день, и поэтому должен запастись побольше. С другой стороны, учитывая мое стесненное финансовое положение (не самая доходная работа, счета за электричество), я не могу себе позволить купить слишком много или купить продукты, которые быстро портятся. Поэтому основу моего каждодневного меню составляет еда весьма дешевая, неприхотливая в хранении и, как следствие этого, довольно однообразная и, что печалит меня больше всего (но я – длинный вздох – уже привык), небогатая вкусом.

69-е февраля

Мне нужно решить, как добираться до рая. Самолетом быстро (ох, как мне хочется скорее уже оторваться от февраля, оторвать его от себя), но дорого; потребуется невероятная удача, чтобы обогреватели не ломались и я мог сэкономить, не меняя их. Поездом, конечно, дешевле, но в поезде больше людей и мой внешний вид может вызвать множество вопросов у одуревающих от скуки трехдневного путешествия покорителей юга, не отличающихся слож-

ным устройством нравов. Отвечать на них, чувствовать себя предметом незамысловатого интереса железнодорожной публики было бы для меня труднейшим испытанием, за возможность избежать которое я заплатил бы любые деньги, но, увы, сумма, которой я располагаю, вполне определенная и не позволяет всерьез рассчитывать на все нафантазированные удобства. Я, конечно, считал и так и эдак, усекая свои потребности, уплотняя бюджет, но я отдаю себе отчет в том, что, после того как все суммы подсчитаны, нужно накинуть сверху еще процентов двадцать-тридцать – на непредвиденные, так сказать, обстоятельства. В общем, я упражнялся в цифрах, приукрашивая свои знания математики целеустремленностью, понимая, что решение задачи одно, и оно было мне известно еще до первого уравнения. Ехать надо поездом. От этой мысли ощущения у меня как в детстве, когда, бывало, учительница опаздывала на урок, на котором должна была давать контрольную работу. Вот прошла минута после звонка, вот две: она точно не придет, надежда уже нервно покалывает за ушами, но на третью минуту учительница все же приходит. Контрольной быть, ехать надо поездом. Я так, я так не люблю поезда, их тесное, грязноватое и грубоватое общежитное устройство; я побаиваюсь вокзалов, люди на них опрощаются и легче становятся их стандарты жизни, на вокзалах – опять школьная аллюзия! – я чувствую себя затравленным новичком, перешедшим в другой класс; и я так, я так люблю аэропортовые холодность (нет, речь не о температуре – о чувстве) и безликий комфорт, даже в покое – ощущение предстоящего движения. Но ехать придется поездом. На довольно неудачном месте. Пряча глаза и ни с кем не разговаривая до самого места назначения. Ничего, потерплю. В конце концов, побег – дело сложное, особенно когда нет решеток, а от тюремщика не видно даже тени.

70-е февраля

Я выхожу из дома. Мой дневник со мной. Я буду делать пометки в нем прямо на ходу: на скамейке, в вагоне, на пляже, чтобы не забыть, чтобы зафиксировать свое превращение в свободного человека. Пока все нормально. На улице, по всем прикидкам, осень, тихая, солнечная. Раннее утро, и свет еще стеклянный. Деревья еще не лысые, даже не рыжие, почти летние; сквозь листья дробится вездесущее солнце. Это красиво, я думаю о том, что в кино я такое видел часто, а в жизни редко, жалею о том, что редко выхожу из дома, все упускаю, упускаю, упускаю жизнь. Нет, не так. Упускать можно, пытаясь ухватить, в борьбе. А я безропотно даю пройти жизни мимо. Но я надеюсь на новое начало, надеюсь, что, как только в южном раю температура пойдет вверх, оттает во мне воля жить. Я ищу намеки, отгадки, предсказания. День хороший. Когда-то я читал, что отправляться в дождь – хорошая примета, но дождя нет, и я начинаю волноваться. День-то хороший. Даже слишком, как с картинки или с фотографии тихого городского пейзажа. Таких в жизни не бывает. Волнение становится сильнее: автобус, на котором я должен добраться до вокзала, все не приходит. Мысли то спотыкаются одна о другую, то ходят по кругу, как арестанты. Надо было посмотреть прогноз погоды на день отъезда, нужно было подгадать дождь. Я пытаюсь вспомнить, случалось ли мне ехать куда-то в дождь и как тогда складывалась поездка.

Вот было: подростками мы ехали с другом с соседний небольшой город на свидание. Было лето, было жарко. Мы надеялись, что девушки придут одетыми по погоде – в короткие юбки. Мы сели в автобус, пошел дождь. Когда доехали до места, дождь все еще шел, но девушки встретили нас на станции, промокшие и в джинсах. Мы расстроились, но дождь перестал, вышло солнце. И мы гуляли по улицам, и девушки от хорошего настроения раскидывали свежие яркие лужи своими ботиночками, и мы вместе с ними. Было весело. Вечером мы вернулись на станцию, надо было возвращаться домой. На прощание девушки поцеловали нас: моего друга его девушка поцеловала робко, быстро, а моя целовала меня крепко. Забавно полу-

чилось: снова пошел дождь, похолодало, от перепада температуры и воды меня стало трясти прямо во время поцелуя, а она думала, что это я от волнения. Может, и от волнения, не помню или не могу признаться даже сейчас. Но ей даже понравилось. Мы потом виделись с этими девушками еще пару раз, но ощущений того припадочного дня так и не повторилось. Но если быть беспристрастным, то на каждый случай, когда дождь был к удаче, память подбрасывает контраргумент.

Вот было: я шел по делам, чувствовал себя блистательным молодым человеком. Была пьяная, притворяющаяся летом осень. Солнце было уже медное, но все еще жаркое. Мне улыбались девушки, я улыбался девушкам. К сердцу моему словно приделали крылья. Дела, по которым я шел, меня не заботили: я знал, что решу их легко, талантливо, без усилий. Пошел дождь, обычный слепой дождик, который существует минут пять и только для того, чтобы разбросать тут и там радуги. Мне позвонил отец, говорил сухо, непохожим голосом: дядя попал в аварию, врачи спасают, но не обещают ничего. Мимо проходила девушка, улыбнулась мне, я не улыбнулся ей в ответ, и она посмотрела на меня с осуждением. Мы с отцом попрощались, а дождь все шел. Через дорогу от меня был фонтан, в нем плескалась радуга. Я ненавидел ее за нелепость. Мне хотелось скомкать ее, как плакат, утопить, как предателя. Солнечный день превратился в насмешку. Улыбки стали реже, их я тоже ненавидел, но тише. Почему вы улыбаетесь мне, зачем? Неужели вы не замечаете, что я не могу ответить вам? Вы сочувствуете мне? Но что вы знаете о моем горе? Дела я уладил в итоге без блеска, с комком в горле, запнувшись пару раз в необязательных местах, но уладил. Вечером дядя впал в кому, через пару дней врачи дали первый осторожный прогноз, очень-очень осторожный, со множеством сложных условий и невнятных, сразу же вылетающих из головы слов, а через неделю дядя умер.

Пока я вспоминаю, пишу, выкапываю из памяти каждый чем-то примечательный дождливый день, пытаясь доказать верность приметы или разнести ее в пух и прах, ничего вокруг не меняется. Мир словно застыл. Я смотрю на часы – нет, все же какое-то время прошло, а автобуса все нет. Наверное, придется брать такси. Я подхожу к дороге и вытягиваю руку, так и не определившись, дождь – это примета или пустяк; на небе ни тучки.

* * *

Я сажусь в такси, и первое, что я понимаю: впервые за долгое время я нахожусь наедине с человеком в замкнутом пространстве. Водитель поздоровался и замолчал, и мне от этого сразу стало легче; если бы попался разговорчивый, я бы растерялся. Я всегда боялся пустых разговоров в такси, в лифте, в очереди, в парикмахерской (там они самые пустые и чаще всего самые длинные), я не большой мастер болтовни. Раньше еще, может быть, я мог бы поддержать разговор минут пять, ну пусть десять, но сейчас? О чем я буду говорить сейчас, когда моя жизнь пуста и невыразительна? Рассказывать о вялотекущем однообразии моих дней, как ничего одного дня перетекает в пустяки другого? Как ночью мне видятся полусны-полувоспоминания, от которых наутро болит голова, как после похмелья? Нет уж, я всегда любил помолчать, а сейчас уж тем более: я уверен, что из города я должен смыться как можно тише, не привлекая никакого внимания. Я, конечно, никому не интересен, но февраль, уверен, все еще следит за мной, хотя и надеюсь, что моя дерзость – побег! побег! стража! стража! – и собьет его с толку.

Таксист смотрит на меня в зеркало над приборной доской, рот его подергивается, наверное, он хочет заговорить со мной. Только не это! Я отворачиваюсь к окну – резко и сосредоточенно. Город за окном стремительно меняет одежды: из моего тихого, пьяного района мы

приближаемся к центру. Я прощаюсь с городом с чувством злорадства. Я давно уже назначил его виновником всех моих бед. Февраль – мой мучитель, но мою жизнь он заморозил не сам по себе, а по приказу этого большого вечного города. Прощай, прощай, не знаю, чем я тебя обидел, есть ведь люди и много хуже меня. Я прощаюсь с его старыми домами и новыми домами, с новыми домами, изображающими старые дома на месте старых домов, с широченными улицами, нигде нет таких улиц, с бумажными людьми, которые ходят по ним, у некоторых на груди нарисовано, очень по-детски, красное сердце, у некоторых даже не до конца закрашено, у кого-то нет рисунка сердца, но есть тучки над головой, серые, серые, черные, серые, я прощаюсь с непотухшими фонарями, уже полдень, а они все горят, сливаясь с солнцем, растрачивают себя зазря, когда мы проезжаем под ними, мне кажется, что фонари превращаются в фотоаппараты и фотографируют меня, с каждым снимком от меня отделяется тонкий слой и остается в городе. Интересно, доедет ли до вокзала вместо меня, сидя на моем месте, человек-невидимка. Я прощаюсь с городскими заводами, они всегда мне виделись благородными непонятыми рыцарями, революционерами, сражающимися с небом, всегда терпящими поражение, никем не любимые. Прощайте! Я прощаюсь и с небом, оно сегодня по-особенному целое, без обойных стыков, ровное, приятно посмотреть, так приятно, что я даже начинаю думать о том, чтобы повернуть назад, к квартирке.

Отвлекаюсь от затянувшегося прощания на мгновение, дробинку секунды и замечаю, что таксист смотрит на меня опять. Пожалуйста, не надо! Но я не успеваю отвернуться, и водитель начинает пустой разговор:

– Вы домой?

– Нет, я в отпуск, – отвечаю и думаю: нужно ли заявить, что, хоть родина моя и далеко, себя я считаю в *этом* городе почти местным?

– А, так вы местный?

– Да, – вру.

– Просто вы одеты не по погоде. Сегодня не так уж прохладно, тепло, даже жарко. Ага, даже жарко.

Почему он не может определиться с погодой, думаю. Но отвечаю, скомкано, в шарф: «Ага».

– Куда едете?

Я говорю.

– Прекрасный город. Очень хороший. Очень красивый. Жарко. Море. Море теплое круглый год. Очень хороший город. Прекрасный.

Когда же это закончится?

– А чего вы так оделись-то? Не по погоде? Я думал, может, вы на север отсюда. Домой из командировки. Знаете, как люди делают, чтобы много чемоданов не брать? На себя все надевают. А вы из теплого города в жаркий в таком виде едете. А там город, – и опять: очень хороший, очень красивый, жарко (дважды), море, жарко (только раз), море теплое круглый год.

– Я болею.

– Температура?

– Нет.

– А что?

– Ничего. Я болею.

Водитель бросает на меня подозрительный взгляд в зеркало на лобовом стекле, я прячу глаза в шарф. Что я могу ему еще сказать? Я убегаю от февраля? У тебя вот осень, тебе вот тепло, а у меня, мол, так и так, февраль уже который месяц, я сам уже не знаю какой. Довезет ли он меня после этого до вокзала?

– Да уж. Не повезло в отпуск больным ехать.

– Да уж. Не везет.

– Не везет.

– Да уж.

Ну хоть сейчас он замолчит? Вроде замолчал. Я считаю секунды, минуты. Если накопится много секунд, несколько минут, он, может, и не заговорит со мной до самого вокзала. Я молчу, вворачиваюсь в пуховик, надеюсь, что стану от этого менее заметен. Задерживаю дыхание. Если задержать дыхание, то время пойдет быстрее, быстро накопятся секунды, которыми я оплачу молчание таксиста. Но он снова говорит!

– А вы надолго?

– Хочу навсегда.

– Хороший отпуск – навсегда! Мне бы такой!

– Вы бы не хотели быть на моем месте, – не сдержался.

– Почему? Вечный отпуск у моря! Кто бы отказался?

– Я болею.

Таксист смотрит на меня в зеркало с таким сочувствием, которого я уже давно не видел. Очень искренним, почти родным. Стало на градус теплее, убедил я себя.

– Да уж. Извините. Не повезло.

– Да уж. Не везет.

– Да уж.

До вокзала мы доехали в тишине, но попрощаться с городом я так и не смог, настрой был сбит, мысли путались, от сочувствия случайного таксиста хотелось плакать, хотелось остаться.

* * *

Я вылез из такси, и спина моя стала очень чувствительная; вот я весь был одет, а она была голая, бледная, худая, дрожащая от каждого дуновения. Обернуться к водителю я боялся, но надеялся, что моя все чувствующая, всевидящая спина уловит его сочувственный взгляд, прощальный подарок мимолетной встречи. Но моя спина не чувствовала ничего, кроме своей мнимой наготы. От нестерпимого ожидания немыслимого чуда моя надежда ухала, пухла, и чем больше становилась, тем тоньше были ее стенки, скрывающие внутреннюю пустоту, потом, не выдержав напряжения, пошла трещинами и ссыпалась вокруг меня на асфальт. Никто этого – еще бы – не заметил, но несколько до обидного спешащих ботинок прошлись по ней, несколько сумок напрыгнули на меня. Было очень холодно, холоднее обычного. Забыв о феврале, я проклинал все подряд, но себя самого от проклятий берег. В шуме вокзала и шуме собственных мыслей я не заметил, как таксист уехал. Я представлял, как уехал вместе с ним, но не назад, не в квартирку, а остался невидимым вампиром в его машине и еду вместе с ним от дома к дому, надеясь присосаться к его сочувствию случайным пассажирам. Мое, мое, и мне, и мне! Буду неслышно причмокивать и сходить с ума от такой диеты.

О вокзале. Я не был здесь очень-очень давно, но ничего не поменялось. Здание все так же было похоже на свернувшегося калачиком крючконосого человека; серебристые поблекшие балки, высокие темные окна с зеленоватым отливом; старые, обитые потершейся бронзой двери. Крепость, а не вокзал. Тюрьма, а не вокзал. Склад, а не вокзал. И вот эта крепостная тюрьма, этот тюремный склад стоит на солнце и солнца не замечает, такая мрачная махина. Солнце белеет от старания, солнце любое здание может сделать красивее, тоньше, благороднее, а вокзал все так и остается могучим уродом. Почему я раньше не выделял его уродства? Отчего в тот день блеск его старомодных граней, многочисленные брови его перекрытий казались мне особенными? Я столько раз проходил рядом с ним, столько раз отъезжал от него привычными

недалекими маршрутами и не обращал на него никакого внимания. А тут вдруг… Впрочем, в тот день каждая мелочь казалась мне особенной, двусмысленной. Я решил не гадать: время, растраченное на одни и те же вялые мысли, поджимало. Я вошел.

Внутри урода было просторно и запутанно, всюду люди, а за людьми хвост из их дел и переездов. Ни отцепить, ни отрубить их они не могут, так и ходят, тягостные и молчаливые, волокут, волокут за собой груз. В городе люди были бумажные, с рисунками, а здесь они были тряпичные, с вылезшими нитками по краям, рваные, некоторые были истершиеся до мелких-мелких дырок, от них даже пахло тканью, долго пролежавшей в пыльном шкафу. От вокзала пахло другим. Я представлял, как сшиваю людей на вокзале в одно большое лоскутное одеяло, но оно все время расползается. Серое, тонкое, оно расползается. Дырявое, холодное, оно расползается. Грязное, короткое, оно расползается. Новое, старое, оно расползается. Я не хотел им накрыться: если им накрыться, то можно умереть. Я бы хотел себя в него вшить, но куда? В центр, в уголок, с изнанки? На меня люди-тряпки не обращали никакого внимания, впервые я был в людном месте, где мимо проходили, не глядя, не оценивая, равнодушно. Я бы, наверное, мог тут жить среди тряпичных людей, а в городе – там все другое, там тесно и люди другие, постоянно как намокнут, так и рвутся, и меняют надписи на себе или нападают на других, и им что-то зачеркнут, а что-то подрисуют. Но все же, если подумать, я не бумажный и не тряпочный, я, может, вообще не существую, поэтому и никак не могу определиться – я из тех и того или из тех и этого. Я время года, сезон, отрезок календаря. Бесплотное определение. Как такое выразить? Погодой, климатом, ревматизмом?

Я успокаивал себя, убеждал взять в руки. Откуда эта апатия? У меня впереди новая жизнь, попытка новой жизни, по меньшей мере. Это уже много. Я больше не молчаливый узник, не вечный жалкий жалобщик, а борец, авантюрист. Вот придет поезд… И я думал, все думал, когда уже можно будет в него сесть, избавиться от тяжелой головы и легких, готовых сбежать домой. Да, тогда от страха я впервые про себя назвал квартирку домом!

* * *

Я давно не ездил на поездах. Вообще ни на чем уже давно не ездил. Сижу безвылазно и безвольно в городе, который стал мне и тюрьмой, и последним другом. Так себе другом, скорее приятелем, который появляется, только когда ему что-то нужно, но уж какой есть, я почти не жалуюсь. Так вот – я давно не ездил на поездах, наверное, с самого детства. Хотя нет, в юности у меня была романтическая поездка, ради которой я даже выкупил на последние деньги купе проводников, в холодный дождливый город, родину поэтов разного масштаба и их однообразных поклонников. Поездка была не оправдавшаяся, в юности строишь планы не мозгами, а еще большим и живым сердцем, и мое сердце нагородило планы, которые не оправдались. Началось все с поезда, с купе. Там было темно, прохладно (дело было ранней весной, не отличимой от оформившейся зимы) и пахло солеными огурцами. Не сказать, что запах этот ужасный, но кто же захочет проводить восемь часов дороги, восемь часов, которые должны были быть наполнены чувствами во всех их проявлениях, в такой атмосфере. В общем, с тех пор прошло много лет, а мои представления о поездах не поменялись. Более того, от страха перед поездкой (разумеется, когда человек годами сидит на одном месте, даже незначительная поездка кажется ему экспедицией времен Великих географических открытий) мне казалось, что мне достанется тот же самый поезд, в котором началось погибание моей первой влюбленности. Но мне достался другой поезд. Светлый, весь беж и песок, и чистый, как с рекламной картинки. Не хватало только миловидных проводниц-блондинок с геометрически выверенными зубами, но с этим я смирился.

Все еще 70-е февраля

Я увидел поезд, и сердце сразу прибавило в весе. Челюсть заходила вправо-влево, пытаясь не пустить по горлу многогранник из слез. Мне хотелось бежать и не хотелось бежать. Долго перед дверью вагона я стоять не мог, чувствовал, что жизнь меня преследует и, если я не займу свое место по билету, она нагонит меня и навалится на меня, закрутит, замучает, задушит всеми прожитыми мыслями и отложенными в сторону мыслями тоже. О, это будет их счастливый час! Они сожрут меня первыми, изголодавшиеся и бессердечные негодяи. Что со мной было? Я ведь так хотел распрощаться с этим треклятым городом, скрыться от февраля. Почему вдруг замешкался? Кто-то толкнул меня плечом, грубо, с намеком, мол, чего загородил проход, и прошел в вагон. Наглый незнакомец поднялся в поезд, и хвост его энергичной лихости захватил меня, и я по инерции, не думая, вернее, думая вяло, без воли, как кролик или как мышка, поднялся за ним. Дверь вагона за мной закрылась, и я понадеялся, что она как бритва отделила от меня все мысли, которые преследовали меня в *этом* городе. В *другом* городе будут другие мысли и другая жизнь! «Я в домике», – не к месту спаясничала мысль. Я выдохнул и пошел искать свое место.

71-е февраля

Мое купе тесное, все в нем маленькое. Я поджимаю ноги, когда ложусь на койку, а когда сижу, втягиваю голову в плечи, чтобы не задеть потолок. Окно совсем маленькое, я мог бы посмотреть в него одним глазом – буквально! – и только если бы лег на пол, но я не могу лечь на пол, потому что мое тело не такое гибкое. Сначала я думал, что мне показалось, что это паника отвыкшего от поездок человека, но мне не показалось, это не была паника. Чтобы втиснуться в купе, мне пришлось снять пуховик и остаться в двух свитерах. Чтобы было удобнее и теплее, пришлось прижать колени к груди. Сидеть было неудобно и холодно. Голове было тяжело и грустно. Если бы голова была моя, она была бы тяжелая и грустная, но я чувствовал ее чужой, поэтому пишу именно так – ей было тяжело и грустно, и ее ощущения были для меня так же родны, как переживания актера на сцене родны эмоциям зрителя в зале.

Человек, обсыпанный мукой, белый, – то ли призрак, то ли ангел, – пробежал под окном. Крыльев у него, впрочем, не было: ни больших, ни маленьких, ни птичьих, ни бабочкиных, ни, разумеется, ангельских.

Зашла проводница. Очень стройная, в красивой форме, вместо головы у нее был игральный кубик. Она не говорила, ведь у нее не было рта и всего, из чего рот состоит: губ, зубов, десен и языка. Когда ей нужно было ответить, ко мне на изящной, очень благородной шее поворачивалась одна из граней кубика, с черными точками, от одной до шести. Я вспомнил, что, когда сел в вагон, даже не посмотрел, туда ли едет поезд, куда мне надо.

«А поезд едет, куда мне нужно?» – спросил я.
Шесть точек.
«Но я ведь не сказал, куда взял билет», – сказал я.
Шесть точек. Успокаивающий жест. Какие красивые у нее руки.
«Мой сосед еще не пришел. Он придет?» – спросил я.
Сначала одна точка, потом шесть точек.
«Понятно. А долго нам ехать?»
Три точки.

«Чаю наливаете?»

Четыре точки.

«Извините, что болтаю. Я давно никуда не ездил. Давно ни с кем не говорил. А сегодня у меня уже вторая беседа за день. Я чего-то разошелся», – сказал и покраснел.

Четыре точки. Потом пять точек. Я ничего не понял.

«Мы скоро поедем?» – спросил я.

Я надеялся, что будет сначала шесть точек, потом пять, четыре, три, две, одна – и тут мы поедем. Но проводница просто показала мне две точки и ушла. Пойдет и так.

72-е февраля

Мой сосед приходил, когда я спал, и уходил, когда я просыпался. Так мы с ним и не повстречались. Я только видел его яркие галстуки, разбросанные по его койке, да иногда сквозь сон слышал его писклявое бормотанье. Хотел бы я с ним поговорить? Наверное, нет, от его высокого голоса у меня разболелась бы голова. Я просыпался и засыпал каждые пять минут – наверное, от тесноты и мерного стука колес-колес, ко-лес-ко-лес, колес-колес.

Часы делали тик, но пропускали так.

Мы проезжали слепые города или города, которые просто не хотели на нас смотреть. Другие пассажиры, может, и видели что-нибудь, успевали встретиться взглядом с домом или фонарем, а от меня города, городишки, поселки, станции, полустанки отворачивались, мол, тебе здесь не место, ты, конечно, если хочешь, оставайся, но мы тебя не примем. Мы делали остановки, я выходил на платформу, и вокзалы тут же стыдливо закрывали свои двери. Становилось тихо, все как будто прятались и ждали, ждали: когда я уже снова поднимусь в вагон и он уедет дальше, все равно куда, хоть назад, хоть вперед, главное, чтобы отсюда. Неужто февраль оказался быстрее стального уродца, внутри которого я еду в рай? Добрался до всех моих остановок и всех там перепугал. Надо торопиться! Я не знаю, почему поезд ехал так долго. Вроде бы и прошло – как по расписанию – три дня, но страниц я исписал гораздо больше. Конечно, у меня много новых или встрепенувшихся старых ощущений, пару раз я заходил в вагон-ресторан, когда было черным-черно и тихо, один, без лопаты закапывал душу вином. А потом спал и, когда просыпался, все равно было черным-черно, и не угадать было, сколько я спал, минуту или три часа, и длинный сальный официант с бельмом на левом глазу гадко подмигивал мне, хотя голова моя была бестуманна.

Города были как близнец без лица. Вернее, их вокзалы. Мы подъезжали, и виделся большой город, с червонным заводом и пушистым дымом из него, а вокзал у него был сизый, голубой, и название города над входом было сооружено зелеными широкими, слегка удивленными буквами. Мы подъезжали, и виделся низкий, с редкими домами городочек, с цветами и травами на старых крышах, а вокзал у него был сизый, голубой, и название города над входом было сооружено зелеными широкими, слегка грустными буквами. Мы подъезжали, и не было ни города, ни вокзала, ни букв, только приподнятая над рельсами полоса бетона с перилами, но эхо минувших городов звенело над ней, рождая мираж города, вокзала и широких, слегка мертвых букв над входом. Тогда я отворачивался и ложился спать, даже если еще ярко светило солнце.

Возможно, тот же день

Я привык к ритму путешествия, но спать больше не мог, потому что все мое тело затекло. Я выдавил себя из купе в коридор. К счастью, он был нормального размера. Я постучал по очереди во все двери, но никто мне не ответил, из-за каждой доносился только обычный звук поезда: колес-колес-ко-лес-ко-лес. Мне вдруг показалось, что февраль отступает, не знаю, откуда взялось это ощущение. Снаружи моему телу было так же холодно (а я еще и забыл снятый пуховик в купе), но внутри уже было теплее. Я приободрился, мне захотелось пройтись. Мне хотелось движения, хотелось отвлечь себя от неуходящего холода, убедить, что вся эта поездка с ее раздерганным началом была – а вернее, только будет – не зря. Я вышел в соседний вагон, страшно трясясь, будто ожидал, что за этой дверью поезд заканчивается. Но он не закончился.

То ли 72-е, то ли 73-е февраля

В вагоне-ресторане было шумно, но не от еды. Люди, число которых невозможно было подсчитать в площадной тесноте, собрались у столика в центре вагона, нависали друг над другом, висели на плечах, кричали что-то непонятное и дикое. Заботливый длинный официант, очень сальный и очень надушенный, с бельмом на левом глазу, подсказал, в чем тут дело: играли в шахматы. Чешский гроссмейстер, карлик (про себя я прозвал его Карлом, и вороны за окнами поезда тут же согласились, одобрительно закаркав, и получился – каркающий карлик Карл), в обесцветившемся пиджаке, худенький, нервненький, скрытый, как за щитом, за хозяйничающей у него на оспинном лице бородой, играл против оравы аргентинцев. Аргентинцы были не шахматисты, а рапиристы, все как на подбор – высокие, крепкие, шумные, с красивыми возмущенными бородами и дерзкими усами и несоразмерными их пышным, сытеньким телам маленькими ладошками. Аргентинцы проигрывали один за другим, кто-то уже сбегал из вагона за рапирами, кто-то их сдерживал. За окном были влажные горы. Чех перескакивал (ну чисто ворона) от стола к столу, со зловещим изяществом двигал фигуры. Вокруг поезда шел мелкий убаюкивающий дождик, очень подходящий моменту. Предводителем у аргентинцев был высокий напомаженный старик с повадками человека, в юности весьма вольно соблюдавшего закон. Он оспаривал каждый ход чеха, требовал объяснений, возмущался и затягивал время и только поэтому сидел за столом дольше других, хотя его игра почти совсем не продвинулась. Игра была слишком предсказуема, ее итог ясен, и даже голодный блеск черно-масляных глаз и намасленных рапир не мог ничего изменить. Вождь-старик даром что в юности был опасен и яростен – по всему видно, с годами утратил дух и начал умирать душой. Я пошел в следующий вагон, и он тоже был, тоже оказался на месте. С пропастью мы снова разминулись.

* * *

В вагоне пахло сыростью и бесполезной мудростью, такой противной, от тщетных попыток понять которую кружится голова. В вагоне не было окон и шел дождь. Забавно получается: в вагоне с шахматистами были окна, а дождь был снаружи. А тут не было окон и дождь шел внутри. Спасаясь от него, несколько слонов держали в своих хоботах крепкие черные зонтики. Слоны были в черных костюмах, очень неброских и очень дорогих, на головах под зонтиками надеты были черные котелки размером со средний тазик. В обычных, человеческих, только очень больших и грубых руках некоторые слоны держали газеты и книги, но большинство просто смотрели прямо перед собой. Наверное, дождь так действует на их мозги, подумал я тогда, не знаю отчего, и поздоровался. Никто мне не ответил, только дождь, старательно до этого обходивший меня стороной (даже вода на полу быстренько расступалась перед моими ботинками), приблизился и помрачнел, как собака, которая ничего не понимает, но готова за хозяина перегрызть горло кому угодно. Я побежал к выходу в следующий вагон. Ни одна слоно-

вья голова не повернулась за мной. Только древняя бесполезная мудрость неловко и несильно пихнула меня на прощанье между лопаток.

* * *

В этом вагоне читали стихи. Точнее сказать, один человек читал, остальные смеялись. Не над ним, а благодаря его стихам. Слонов не было, и дождя тоже, но было ярко от золота и богатых, беззастенчивых улыбок. Поэт был русский, с пушистыми, слабыми волосами и нежной бородой слабохарактерного человека; аудитория была французская, гортанная и горластая, настроенная к поэту, как публика бывает настроена к экзотическому, но безобидному животному в зоопарке. Поэт, по виду, об этом знал, но глаза его горели: он наслаждался случайным успехом и снисходительностью дюжины хохотунов, которые, я думаю, тогда ему виделись толпой. Пусть наглой и дурацкой, но *его* толпой. Она-то думала, что существует сама по себе, каждый в ней – по отдельности, но поэт знал, в тот момент, когда все смеялись и хлопали себя от смеха по ляжкам, знал, что эта толпа – его. Он опрыскивает ее своим талантом, а она и рада, хоть и понимает только десятую часть его стихов. Я не знаю, что понимали французские пропойцы (они пили очень много шампанского, пустые бутылки катались по полу из стороны в сторону, и нужно было быть очень аккуратным, чтобы пройти из одного конца вагона в другой, не свернув себе шею) в русских стихах, но смеялись они искренне, хоть и противно. А стихи были хорошие, похабные, конечно, развлекательные, но даже в них чувствовался талант, уже осознанный поэтом, но еще не укрощенный. Не беда, подумал я, он молод, все еще будет. Послушал, посмеялся и пошел дальше.

* * *

В следующем вагоне стояла такая тишина, какая бывает только после того, как долго плакали и воздух стал сонный и болезненный. Люди стояли вокруг гроба и держали в руках горящие свечи, больше света не было. Все вокруг было как на голландской картине, коричневое и черное, и как бы не сегодняшнее. Я продвинулся к гробу, стоявшему без крышки на каких-то ящиках, аккуратно, чтобы никого не задеть своим плечом и никого не обидеть своим любопытством. В гробу вместо покойника лежал сахар и больше ничего до самых краев, как в стакане. В свете свечей сахар казался золотым и медовым и немного блестел. Люди стояли смирно, даже не переступая, будто окоченевшие и не сводили глаз с содержимого гроба. Только их коричневые квадратные лица зыбко дрожали, сомневались, что ли, стереть себя или остаться. Ах, впрочем, это наверняка было от света свечек. Люди-жабы стояли и смотрели на сахар в гробу. Сахар в гробу. Я тоже смотрел на него, как он блестит, мигает, веселый и мертвый, думал я увидеть в его отжившем блеске какую-то тайну или хотя бы намек на шутку, на какую-то многозначительную недосказанность. Но ничего в нем не было. Просто сахар в гробу лежал вместо покойника. И мне подумалось вот что: либо эти жабы видят настоящего покойника, а мне он видится сахаром; либо покойник куда-то отлучился и все его ждут, а когда он придет, вытрясут, выедят сахар, а на его место положат мертвеца и закончат этот странный ритуал; или покойника пока еще и нет вовсе, все живы, но ждут сворачивающих сердце в кровавый комок новостей. А может, это и не похороны вовсе, а, скажем, прощальный ужин. Откуда мне знать? Я ничего не знаю.

* * *

Еще один вагон. Очень длинный, как два или три, или, может, даже четыре вагона подряд. Люди в нем, все очень разные, на разный лад взволнованные, стояли в нервной и неровной очереди, периодически ругались, дергали друг друга за волосы и давали по шее, но строя не ломали. Я встал последним и спросил у того, кто был последним до меня (серенький маленький мальчик со старушечьимм лицом), могу ли я пройти к выходу из вагона. Мальчик-старушка посмотрел на меня со злыми слезами и велел стоять. Назад поворачивать я не хотел, уверенный, что за этим-то вагоном точно обрыв, черный и тупой, поэтому стоял. Людская цепочка двигалась медленно, на одного, кто отстоял свое, тут же приходился новенький. За моей спиной все прибывали люди. Из обрывков однообразных, давящих, истеричных разговоров я выяснил, за чем была очередь. Люди стояли на прием к кукушке.

Кукушкой называлась очень красивая женщина с глазами цвета неба вокруг месяца в полнолуние и фиолетовыми сосками (была она полностью голая), кожа у нее была белая, светящаяся, а волосы черные, которыми хотелось задохнуться. Она стояла ровно и бессмысленно, как статуя, а вокруг нее ползали грязные молчаливые младенцы, а сама она могла только кукукать в лицо подходящим просителям. Она не говорила, почти не моргала и дышала даже, кажется, очень редко и неглубоко, и взгляд ее полнолунных глаз был тих, и пуст, и сфокусирован где-то далеко, думаю, где-то за очередью, за поездом, за этим миром. Красавица была, ясно, дебилка. Очередь к кукушке была такая длинная, что некоторые умирали прямо в ней, а тем, кто доходил до пророчицы, от «ку-ку» доставалось, бывало, только «ку» или «к», а некоторым и вовсе только вертикальная палочка от «к». Тех, кто умер, без ритуалов, наскоро выталкивали из очереди еще до того, как они успевали упасть на пол. И радовались, радовались, что очередь для кого-то стала короче. Те, кому досталось от кукушки хоть что-то, уходили в дверь за ней, кто плача, кто в гневе, кто весь остекленевший, довольных не было ни одного. В итоге дошел и я, кукушкин взгляд вернулся из далёка, она посмотрела на меня, обрадовалась, как мне показалось, поперхнулась и умерла. Меня, разумеется, тут же захотели убить. Теперь я стоял первый, и все, кто был за мной, считали, наверное, что я украл, присвоил все невыкукушенное слабоумной пророчицей. Мог ли я что-то объяснить этим самообманутым страдальцам? Сказать, что это все февраль, что я ни в чем не виноват, что мне, так же как и всем оставшимся, теперь неведомо мое будущее? Дверь в следующий вагон была ближе, и я предпочел сбежать, а не объясняться.

* * *

Странно: я захлопнул дверь и всех недовольных, обреченных на незнание срока собственной смерти людей как отрезало. Как в плохом фильме, вместо того чтобы бежать или звать на помощь, я подпирал межвагонную дверь спиной и испытывал почти облегчение от покалывающей пустоты в голове. Лишь на какую-то секунду, даже меньше, на вздох секунды, когда стрелка часов только собирается сделать конвульсию от одной цифры к другой, я подумал о том, что зря сбежал. Вот что было бы, останься я в вагоне с людьми, желавшими посчитать остаток своей жизни? Дал бы меня им на растерзание февраль? Или это он подтолкнул меня к выходу, когда разгневанные, заплаканные пассажиры готовы были убить меня? И если он меня так вот хранил, то почему: из-за внезапно проснувшегося человеколюбия или инфантильной гордыни (не дам, мол, мое, мое!)? Должен ли я тогда чувствовать себя опостылевшей игрушкой, которую во время уборки не выкинул повзрослевший хозяин, потому что она о чем-то напомнила ему, сильно и неожиданно, взволновала его уже недетское, забывшее детство сердце чем-то ранним и чистым, размытым чувством, нечетким воспоминанием? Я напомнил себе

(вообще я часто спорю с собой за неимением компании, примеряю на себя роли собеседников обязательно с полярными точками зрения, чтобы спор был жарче и, иногда, даже подлее – как настоящая битва. Просто не все записываю), что в отличие от игрушки я имею волю. Я сел на поезд, я еду в город-рай, я, я – я сам все это решил!

* * *

Никто за мной не шел, вагон, в котором я стоял, был тих и знаком – это был мой вагон, с закрытыми дверями, прятавшими за собой тайное однообразие неизвестных пассажиров. Тогда почему-то мне казалось это нормальным – закольцованный поезд, в котором можно переходить из вагона в вагон, не боясь наткнуться на его начало и его конец. Самый безопасный и занудный вид транспорта. Еще одна проделка февраля, наверное. Я пошел к своему купе и ошибся, вошел в соседнее, неожиданно открытое. Там сидел один пассажир, русский поэт, который развлекал французов похабными стишками. Поэт плакал, смотрел в окно, в окне была уже ночь, ночь подмигивала поэту, поэт успокаивался, но, когда отворачивался от окна, снова плакал и что-то записывал при свете свечи. При свете свечи… При свете свечи его одуванчиковые волосы были похожи на пожар, голова у него горела, и никакие слезы не могли ее потушить. Я поздоровался, поэт устыдился своих слез, бросил ручку, начал их стирать руками, рубашкой, платком, исписанными, измятыми бумажками, а голова все горела!

Мы разговорились. Он, оказывается, сидел тут, в своем купе, в моем вагоне, и писал настоящие стихи. Чистые, свободные, воздушные стихи, а не те развлекательные четверостишия, от которых покатывались подвыпившие французы, – это была его характеристика его же стихов. Разве скажет настоящий поэт о своих словах что-то другое? Не кривляясь перед толпой, которая (из зависти, что ли?) ждет от таланта самоуничижения, а вот так, сидя один, в слезах, в огне, не оцененный и пропущенный публикой. Я попросил его почитать, он почитал. Его стихи показались мне похожими на новогодние снежинки, вырезанные из бумаги, которые в детстве я клеил на окна, – это моя характеристика его стихов. Немного слишком старательные, чуть-чуть старомодные, про любовь, конечно (какой поэт не писал про любовь хотя бы раз-другой?), про разные, самим лирическим героем не понятые мысли, про бунт сомнения, про ненужность сомнений, про милую луну (ну, это банально) и забывшее о людях солнце (тут я почувствовал прилив симпатии к личности поэта) – это еще одна моя характеристика его стихов. Я так и не понял, насколько он талантлив. Надо подождать, почитать и послушать его лет через пять, когда он приладится к своему таланту, совладает с огнем в голове и перестанет гоняться за дешевой славой, от которой потом мучается, как от похмелья.

Еще одна деталь. Бумажки, на которых он записывал свои сочинения, он сжигал в огне свечи. Записывал, переписывал, доводил до того вида, когда был уже всем доволен, – и сжигал. Этот его ритуал показался мне немного театральным и, наверное, рассчитанным произвести на меня впечатление. Я для вида впечатлился и ушел. Пообещал следить за творчеством, пожелал успехов, чувствуя себя немного критиком и стараясь придать похвале немного официальности. Стихи все же были хорошие. Жаль, я ничего не запомнил.

Один из последних, если я верно посчитал, дней февраля

Я приехал в земной рай. Первый день не задался, но, может, дальше будет лучше. Я ждал морской город, белый, золотой, кипарисовый, но вместо него на вокзале меня встретили выцветшее серое небо и скучный мелкий дождь. Поезд, кстати, обычный, не кольцом, я проверил, хотя легче мне от этого не стало. И люди в нем были обычные, выходили со своими

тюками, чемоданами, со своими проблемами и сонными детьми, со своей головной болью и растрясшимися за время поездки мечтами о побеге из одной жизни, постоянной и хлопотной, в другую, короткую и капельку не свою. Не было ни слонов с зонтиками, ни униженных шахматным гением рапиристов, никто не вынес сахарный гроб. На остановке я зашел в купе к поэту, но его уже не было, ни одной бумажки он не оставил. Я даже пополз по полу на четвереньках, но ничего не нашел – исчезло все.

Я прислушивался к себе, примерялся, расстегивал и застегивал пуховик, чтобы понять, стало ли мне теплее или нет. Люди вокруг ходили летние, несмотря на раскисшую погоду, и на меня смотрели с тревожным удивлением; дети, впрочем, тыкали в меня пальчиками без опаски, с таким туповато-радостным выражением лица, с которым тычут, наверное, в странного уличного кота (с оборванным ухом и необычайно длинными усами, например), обращая внимание и без того издерганных наблюдательностью ребенка родителей на диковинку. На меня. Я диковинка. Ну и пусть. В этом нынешний город (не город – рай! – по уверенным данным рекламных буклетов) ничем не отличается от города, из которого я бежал.

Город был чудесный, но не мой, не для меня. Пока я ехал в такси до гостиницы, все рассматривал его, пытался его непривычными видами растормошить в себе тепло. Ничего не выходило: надо было брать больше зимних вещей с собой, а не бросать так наивно вызов февралю! Ничего, дальше будет лучше, надежда на это была, по крайней мере. Таксист, совсем не похожий на того, из моего города, случайного соучастника моего побега, усталый, серьезный человек, утверждал, устало и серьезно (от этого верилось легче), что нынешний день – тут он устало и серьезно вздохнул, выпуская из себя потаенную, очень личную мысль, – исключение, что погода вчера была замечательная, а завтра будет исключительная, какой не было уже лет двадцать, и простоит еще долго, и будет много туристов, и много работы, и много денег, и – снова усталый, серьезный вздох, из-за которого не слышно, чего же будет еще много.

Мы доехали до гостиницы, таксист, не меняя выражения лица, явно взял с меня больше, чем нужно, но я спорить не посмел. Добрался, и хорошо. Сегодня дождь, тучи, помехи в раю, нечего ожидать от таксистов благородства. А вот завтра все изменится!

* * *

Пока февраль

Ничего не изменилось.

Февраль

Погода, как и было обещано таксистом, стояла то ли замечательная, то ли исключительная. Вечные +25 из рекламы и неродных восторгов были истиной, но не для меня. Я и город существовали отдельно друг от друга. Город был под прозрачным колпаком, а я был тараканом, который ползет по колпаку и только надеется, что когда-нибудь колпак поднимут, юркает из стороны в сторону, но стекло монолитно и скользко, не удержаться. И таракан все время соскальзывает назад, к основанию колпака, и молится (интересно, есть ли тараканий бог?): «Только не на спину». И наконец, падает на спину, и уже не может ползти, и молится: «Ну хотя бы сейчас колпак исчез». Но тараканьего бога (если он, конечно, есть) уже кто-то где-то раздавил, и колпак – стеклянный, бесстыже-прозрачный, всё на месте.

Ночь какого-то февральского дня

До самой ночи я брожу по улицам. Может, не во всем городе, может, только в какой-то его части, в узком закоулке, на грязной, не хоженной туристами улочке я смогу отщипнуть себе немного лета. Я заметил главную разницу между этим городом и тем: в этом нет осенних листьев, застрявших в решетках окон. Здесь и правда нет осени, зимы и весны, только разные настроения лета: для всех постоянно +25, +32, +28 (иногда даже в тени), а для меня по-прежнему февральский мороз. А еще здесь есть, разумеется, море. Это похотливое море, принимающее в себя всех без разбору, меня одного ненавидит. Сегодня я пытался войти в него, скинул пуховик, снял свитер, аккуратно сложил шапку и термобелье, немало позабавив отдыхающих, которые приняли меня за клоуна, уличного артиста, некоторые даже бросали мне деньги. Но море меня не приняло, холодно выплюнуло обратно. Вид у меня был, предположу, весьма карикатурный, потому что за мой забег из воды назад к моим вещам мне тоже кидали деньги.

7Х-е февраля

Море казалось зеленым, но на самом деле было ухмыляющегося черного оттенка. Возле него, конечно, собираются люди (весь город, слегка отупевший от вечного лета) и играют с ним, как со спящим богом. Я тоже тупею, но не от радости, а от страха. Февраль так и не отступил. Я бросил слоняться по улицам этого вероломного (хотя в чем он виноват?) города, нигде я так и не нашел ни марта, ни апреля, ни уж мая, ни кусочка, ни отблеска весны. Бывали дни: я просыпаюсь от того, что солнце гладит насквозь мои глаза; свет я принимал за тепло и радовался, как голодный ребенок, которому дали немного его любимой сладости. Но свет был хоть и ярким, но холодным, зимним, я снова нырял в одеяло и продолжал лежать и, шепотом выговаривая свои обиды и проклятья, все ненавидеть.

Когда уже будет март!

Кстати, о моей комнате в гостинице. Гостиница была пристойно дешевая, в такой можно жить несколько дней, уговаривая себя, что город – золотой, кипарисовый, как его еще разукрашивают в рекламе? – стоит того, чтобы мириться с простотой и теснотой обстановки, с застенчивым окошком, выходящим прямо в глухую стену соседнего здания. Впрочем, по утрам, рано-рано, были минуты, когда солнце просачивалось каким-то обходным путем в архитектурную ошибку между домами и… У моей квартирки не было цвета как такового, только настроение – слегка серое и замкнутое. А у номера в гостинице был цвет – цвет песка, который никогда не видел солнца. Но круговерть постояльцев сначала замызгала, а потом убила (без всякой задней мысли, конечно!) его настроение, остались – так – стены, потолок, пол, тумбочка у кровати, кровать у окна, мертвый телевизор, неприкаянный шкаф, поставленный как-то так, кое-как, и стол, поставленный как попало. И между этими предметами, по-стариковски пытающимися сохранить остатки достоинства, жил я, давно уже никакого достоинства не имеющий. В общем, в комнате мне было плохо, и на улице мне было плохо, у самого моря мне было совсем отвратительно, я оказался не в раю, а в музее при рае, где у меня ни на что не было права, и время экскурсии подходило к концу.

Итоги седьмой и, возможно, восьмой декад февраля

Оставшиеся дни были как кино, и я ждал неожиданной концовки. Вот-вот, сейчас-сейчас, на последних минутах, когда герой (я) уже делает левой ногой вверх, одновременно делая

головой назад, одновременно делая вдох перед вагоном, который фырчит и ухает (что поделать, если я люблю несовременное кино), и камера устремляется через колонны перрона, через равнодушную, блеклую, но шумную толпу к его фигуре, потом к его лицу, потом к его глазам, таким печальным, киношным глазам – и успевает до выдоха. На сокрушенном выдохе солнце выглядывает из-за козырька вокзала и бьет по глазам героя (меня), он морщится от света, но еще – и тут зритель (я же) по изменившемуся взгляду догадывается – о, радость! – что щурится он еще и от тепла!

Я столько раз режиссировал эту концовку у себя в голове, добавлял драматических деталей, менял операторскую работу с классической на экспериментальную, что убедил себя – так все и будет. За мою внезапно проснувшуюся решительность, за почти умершую, но выхоженную надежду, я буду награжден. На радостях я проведу еще несколько дней в раю, может, даже переееду в гостиницу поприличней, поближе к морю, которое, хоть и не станет мне теперь другом, будет ко мне чуть радушнее, чем к остальным. А потом, уже накупавшись, пропитавшись солнцем, и солью, и взглядами туристок (я был уверен, что с наступлением личного лета – весну я, замечтавшись, из календаря вымарал – перемена во мне будет столь разительной, что станет привлекательной и притягательной) я вернусь в свой город. И буду жить долго и счастливо, как в сказке.

Опыт (в союзниках – мрачные воспоминания и записи) боролся с надеждой, подпитываемой художественными фантазиями, до самого моего возвращения на вокзал. Я поднял ногу, повернул голову, глаза загрустили и без напоминания – постоял в такой нелепой позе перед вагоном, но так и не дождался ни камеры, ни тепла, хотя и толпа была, и солнца хоть отбавляй. Погода, кстати, вообще была *исключительная*, лучшая за все время, что я пробыл *исключением* в раю.

Я сел в вагон, а надежда моя осталась на перроне. Первый путь от высокой платформы. Может, кто-нибудь и встретит там ее шальной призрак.

* * *

Я с огорчением узнал, что поезд тот же, на котором я приехал: та же непередаваемая тоскливая уродливость вагонов снаружи и изнутри, та же проводница с головой-кубиком, пассажиры наверняка те же – но эти в других сочетаниях. Я это скорее пока чувствую, чем вижу, но путь длинный, наверняка и увижу тоже.

* * *

Поезд ушел по расписанию, секунда в секунду. Такая педантичность даже раздражала. Вот еще минуту назад я сидел в своем купе (тот же вагон, только дверь с другой цифрой, я так же один, на это раз судьба не определила мне даже невидимого соседа) и надеялся, что поезд тронется, чуть-чуть опоздав, продлив мою надежду на чудо, на концовку, которая бывает только в кино или духоподъемных книжках. Я чувствовал, весь взбудораженный, что так и будет. Случается, сидишь в вагоне и чуешь, что вот этот вот сегодня отъедет позже обычного. Все остальные вагоны тронутся по расписанию, а этот – на минуту позже, отстанет от своих и заедет куда-нибудь не туда. Было у меня такое чувство, от него ноги и руки становились свинцовыми, а сердце пуховым и радостным, но оно меня обмануло. Мой вагон двинулся точно по расписанию, а за остальными я не следил.

Февраль никуда не делся!

Пошел проведать русского поэта. Я был почему-то уверен, что он будет в этом поезде вместе со мной. Он виделся мне чуть загоревшим, менее заплаканным, отлакировавшим свою хрупкую гордость. Не знаю, почему я хотел, чтобы у него все было хорошо.

Он же

Пошел пройтись по поезду. В вагоне-ресторане было шумно, но не так, как в прошлый раз, когда играли в шахматы; был шум обычной столовой: много звенящих поскребываний, звонкий хруст хрусталя, чавканье, переходящее в покашливание. Аргентинских рапиристов не было, но от некоторых остались усы на стене, в красивых рамочках, ухоженные. Наверное, боевые трофеи вороны Карла.

* * *

В следующем вагоне я нашел русского поэта. Он лежал в гробу, где до этого был насыпан до краев сахар. Он лежал там, мертвый, к сожалению, и совсем не загоревший. У него было лицо человека несчастного, но смирившегося со своим несчастьем. Такое сложное, даже немного гордое выражение. Признаться, я думал, что в смерти он вдруг станет значительнее, не оцененный при жизни талант вдруг вспухнет в нем, проявится в тонких чертах лица, в изящных руках, в трагичном, немного заносчивом носе. Но нос стал плоский, как будто из него вынули хрящ, руки были спрятаны под сдвинутой крышкой, а лицо было как плохая восковая копия. Только волосы, от которых я ничего не ожидал, потому что они и при жизни портили поэта, после смерти остались такие же – полянка наполовину облетевших одуванчиков. В вагоне, кроме меня и мертвого поэта в гробу, больше никого не было, никто не видел, как я подошел к нему и погладил его волосы в благодарность за верность таланту.

* * *

В следующем вагоне был праздник, особенно неприятный, шумный и буйно живой после свидания с мертвым поэтом. В центре торжества был еще один гроб, который играл в карты с французами и все время их обыгрывал, потому что прятал козыри под крышкой. Слоны избавились от своих зонтиков, нашли где-то записную книжечку поэта и трубили теперь из нее стихи, старательно, но выходило все время как-то одинаково: протяжно, морщинисто, о смерти. В исполнении слонов любовь как-то затерялась.

* * *

Еще был вагон. В нем бойко шла торговля. Люди, которые стояли в очереди за кукушкиными пророчествами, теперь покупали свечи у людей с квадратными жабьими лицами, которые то ли сторожили гроб, когда в нем лежал сахар, то ли оплакивали сам сахар. Теперь плакальщики (сторожа?) переиначились в торговцев, и дело у них ладилось, но лица были все те же, безрадостные, но и не печальные. Просто никакие лица. Лица и лица. Немного жабьи, а в остальном никакие. А вот те кукушатники, которые хотели меня убить, теперь не обращали на меня никакого внимания. Они жгли свечи и пытались по ним выяснить, сколько им самим осталось жить. Все время они были недовольны: то поезд качнуло, то подуло откуда-то, то свеча попалась не та, то фитиль слишком тонкий. Все время они искали подходящую, самую точную,

самую верную свечку, и покупали их одну за одной у бывших сторожей (плакальщиков?). А тем вроде было все равно. Но вот где они запасли столько свечей?

* * *

Я вернулся в свой вагон все так же, по кругу. Пока я ходил, попутчиков не прибавилось, все двери были закрыты. Я подвел итоги своего путешествия. На одного поэта меньше, на один гроб больше. А в остальном ничего не изменилось, февраль по-прежнему со мной.

Снова мой февраль

Я вернулся домой, а он был все таким же: со скрипучими дверями и холодным полом. Я уезжал осенью, а вернулся летом, будто поезд отбросил меня во времени. В дороге я представлял, что хотя бы осень совсем наступила, пока меня не было, подмяла под себя город; солнце редко показывалось из трубы в доме напротив, а когда вылезало, то вылезало украдкой, с простуженным (а мне хотелось бы, чтобы с пристыженным) видом и держалось на небе неуверенно. Тогда я мог бы хоть немного утешаться злорадством, но февраль был все тут. В каждой чашке, в каждой складке одеяла, в каждом запылившемся углу, между кнопками от телепульта, за полотенцем в ванной, в кипящей в чайнике воде, в шорохе машин по асфальту, даже в осеннем дожде, даже на потолке и между стен, в часах, под ковром, в прогнозе погоды по телевизору, несмотря на осенние лица ведущих и летние картинки за их красиво оформленными лицами, тоже был февраль.

Снова 69-е февраля

Моя жизнь стала прежней, как до поездки, хотя, если собраться с духом (аж коленки трясутся от немыслимости такого поступка) и признаться себе, то и в поездке в ней было мало нового. Всего лишь смена декораций, только поначалу увлекательная. Но – было, осталось, есть ожидание чуда! Я не говорю: надежда. Потому что надежда есть азартное предвидение того, что из десятков вероятных сочетаний события произойдут наиболее желанным, но самым редким способом. Надежда – что-то вроде погрешности, случайности, вещь немного из области математики жизни. А чудо – это то, что не объяснить цифрами и, следовательно, не просчитать. Или случится, или нет. Я все ждал (но – не надеялся, это важно!), что чудо случится. Основываясь на простом убеждении в том, что ничто не может длиться вечно, и февраль, значит, не вечен.

Жду я преимущественно дома. Неудачное бегство в мир показало мне, что от февраля просто так не сбежать. Несмотря на невероятную скуку, я отказываюсь выходить без лишней надобности даже в магазин. Пример моей невероятной воли: я растягиваю продукты, которые должны были закончиться еще три дня назад, только бы ни ногой за порог! Три дня я почти не ем, надеюсь протянуть еще один день, полтора, если повезет, только бы не выходить. Чтобы экономить силы, я в основном лежу, иногда заставляю себя спать. Такой вымученный, полуголодный сон получается неглубоким, с частыми, плохо откладывающимися, но неприятными сновидениями. В этих недокошмарах я вижу… я вижу разное и надеюсь, что меня тоже видит хоть кто-то.

Я постоянно пробую спать по-другому, меняю позы, одежду. Вчера передвинул кровать к окну, позавчера – от окна. Завтра, наверное, поставлю ее на кухню или подопру ею дверь, еще не решил. Вариантов много. Но меня беспокоит, что на перестановку нужны силы, а их у

меня и так уже не осталось. Я толкаю кровать и чувствую, как горят глаза, иссыхают мышцы, голова словно в похмелье. Определив кровать на новое место, я валюсь тут же на нее, но все равно не могу заснуть глубоко и без снов: отвык.

* * *

Сегодня сломался обогреватель. Нужно выйти, чтобы купить новый. Чтобы не замерзнуть. Заодно зайду в магазин, прерву голодовку. Сдамся.

* * *

В магазин я так и не пошел, прикинул, что сил мне хватит только дойти туда, но не вернуться назад. Даже если бы взял такси в оба конца, то не донес бы обогреватель от подъезда до квартиры. Мой вечно улыбчивый, навечно глупый сосед наверняка помог бы, но я не хотел показываться ему на глаза, не хотел его сочувствия. В темном, размытом сне я видел, как несу домой с обогревателем лето. Я прижимаю коробку к груди, и сердце начинает биться ровнее, румянее. Я чувствую себя деревом, впитывающим весну. Но когда я приношу обогреватель домой, достаю его из коробки и включаю, из него начинает валить февраль, грязными, белыми, грязно-белыми, белыми, грязными, бело-грязными комками. Они похожи на снег, но это не снег. Они заполняют квартирку. Я беру их голыми руками и бросаю в окно, но на самом деле я ничего не могу поделать. Мои руки исчезают, мое сердце останавливается.

* * *

Сегодняшний день был похож на вчерашний, а вчера было как завтра. Для меня это привычно: почти всегда вчера неотличимо от завтра – четыре угла, холодно, тишина. Иногда я тренирую причудливую фантазию, будто бы нет вчера и не будет завтра. Есть только сегодня, очень длинное сегодня, мнимо разбитое на дни эффектом дежавю. Любой фантазии, чтобы стать реальностью, нужно доказательство, и оно у меня есть, очень простое. Я вижу одно и то же, чувствую одно и то же, думаю одно и то же каждый день – значит, и день один. Чтобы это доказательство работало, нужна железная дисциплина. Я не должен соприкасаться ни с чем, что как-то связано с переменой дней. Не должен читать газет, выходить в интернет, смотреть телевизор. Даже выглядывать в окно я не могу, потому что могу увидеть там соседей. По будням они увозят детей в школу в половине восьмого, а по выходным не выходят из дома раньше десяти. С понедельника по пятницу дети (смирный и постоянно растрепанный мальчик и девочка-сорванец с очень прямой спиной) одеты в школьную форму, хотя сейчас лето. Странно, но ее серый цвет равно подчеркивает и кротость мальчика, и задиристость девчонки. А по выходным оба одеты во что-то яркое, на фоне которого кажутся невыразительными и уставшими. Соотнося их одежду с часами, я узнаю, что время не стоит на месте в мире обычных людей.

* * *

Я так замерз сегодня, что никуда не пошел. Проснулся с утра, и день был обычно-холодным. В такое утро не знаешь наверняка, будет холоднее обычного или хотя бы чуточку теплее. Я лежал свернувшись, обняв колени под двумя одеялами, и мечтал о том, что, когда обычно-холодный день развернется и достигнет середины, я скину верхнее одеяло (оно у меня тяжелое) и в груди перестанет быть тесно от давления и нехватки воздуха. Я лежал, и мечтал, и почти

убедил себя, что будет не так холодно, как бывает обычно. Фантазия была наглая и крепла: я начинал думать, что будет даже теплее, чем всегда. Ногами, путаясь, я сдвинул часть верхнего одеяла, чтобы проверить обоснованность своих мечтаний. Ничего не понял, но посчитал это все же хорошим знаком, и моя фантазия совсем рассвирепела – я уже был почти уверен, что мне предстоит не номерной февральский день, а самый, самый-самый последний день зимы и цифра рядом с ним, какой бы великой она ни была, уже не будет иметь никакого значения. Я даже переключился на следующую фантазию: мне предстояло решить, что делать с одеялом. Сжечь, отнести, нарочито брезгливо держа на вытянутых руках, на помойку или простить и отправить в ссылку на антресоль в шкафу. Оно защищало меня от холода, но было при этом и одним из символов февраля. Хотелось поквитаться за страдания, причиненные холодом, но хотелось, конечно, и потешить свое незначительное благородство и простить все, пусть даже и бездушной вещи. Убедиться, что умение прощать я себе еще не отморозил. Я мечтал, почти не обращая внимания на ход времени. День меж тем добрался до середины, солнце и небо были почти белыми от жара, а теплее не становилось. Верхнее одеяло снова занимало свои позиции на мне. Я обманулся, обычно-холодный день превращался в день холоднее обычного, поэтому я никуда не пошел. Только вылез из постели, чтобы выкрутить обогреватели почти на максимум (я метался между ними с ловкостью и отточенностью движений циркового артиста), и снова залез под одеяла с головой. Увы, пока меня не было в моем укрытии (но ведь всего какие-то мгновения!), туда проник холод и теперь лез обниматься, как надоедливый приятель, которого никто не рад видеть.

* * *

Сегодня вообще ничего не происходило. Если бы день можно было выразить одним словом, то слово это было бы «ничего», причем такое огромное, что неизбежно проваливаешься в ватный сон, пока его читаешь. Я опишу это слово. Слово «ничего» начинается привычно с буквы Н, исполинской, заоблачной, от которой веет увядшими розами и солью. Чтобы прочитать одну только эту букву, уместить ее в себе, требуется очень много времени. Заканчивается слово «ничего», как обычно, буквой О. Но увидеть ее никак нельзя. Во-первых, она находится очень далеко он буквы Н, на расстоянии многих часов, вязких, как столетия, а во-вторых, буква О находится в плену морозного тумана, который оплетает ее кольцо, как жадная бесплотная змея. Вот такой был сегодня день.

* * *

Пока я ходил в магазин, был в магазине, возвращался из магазина, уже не полуголодный, а почти мертвый от голода (только излишняя воспитанность, а на самом-то деле просто заложенная родителями боязнь опозориться на публике (в одиночестве позориться можно, но при чужих людях – никогда) не позволила мне начать есть еще не оплаченные продукты прямо у полок в магазине), странное чувство нерешительно бродило по мне, будто потерявшееся в лесу.

Начал его осознавать я его, только когда вышел из магазина и стал есть прямо на крыльце, неуклюже закрываясь от испуганных взглядов редких покупателей. О, я знаю, как я выглядел в их глазах! Человек, не по погоде одетый в несколько слоев одежды, бледный, с признаками истощения, набрасывающийся на булочку, спешно-спешно сующий ее в рот, плохо жующий, сгорбленный от стыда. Но мне было все равно. Нет, мне не было все равно. Мне никогда не было все равно. Меня всегда обижали такие взгляды, такое непонимание и нежелание понимать. Но есть хотелось больше, голод победил обиду. Это было тоже по-своему обидно, но очень по-человечески. Это утешало. Пусть прохожие и видели во мне сумасшедшего, живот-

ное, существо, отделенное от человечества, я-то знал и чувствовал, что у меня и у них есть что-то общее, еще есть. Я тоже хочу есть, и я тоже могу стыдиться.

Я ел всю дорогу до дома, и еда подкрепляла не только мое тело, но и заблудившееся чувство. Но когда я дошел до дома, меня уже тошнило оттого, что я ел через силу, и тошнота отупила меня на время; я упустил чувство, так и не осознав его до конца.

* * *

А сегодня, с самого утра, с самого раннего, но уже искристо-солнечного утра, понял – понял, что это было за чувство. Это было чувство незавершенности, противоположность чувству обреченности. Я знаю: это все из-за поездки. Ну да, ничего толкового из нее не получилось, февраль все тут же – в воздухе, в пальцах, в голове. Но я так многого от нее хотел и так мало получил, что эта неосуществленность идей, мыслей, планов расковыряла во мне жаркую ранку, к которой теперь не мог подступиться февраль. Как к любой ранке, к ней больно прикасаться и вспоминать вместо того, как что-то случилось, то, чего не случилось, но, по крайней мере, у меня теперь есть воспоминания! Чувство как в детстве, когда ты упал с велосипеда, не сумев объехать препятствие, и рассадил коленку, но перед самым падением (в полете посмотрев на препятствие под другим углом) понял, что надо было делать по-другому, и рана теперь – под бинтами и йодом – напоминает: на выходных – еще одна попытка. В честь такого открытия я хотел выпить шампанского под цвет утра, но не нашел его, у соседа, несмотря на проснувшийся во мне инстинкт покорителя мира, спрашивать смутился и просто заварил себе чаю покрепче (два пакетика), чтобы прочистить мысли.

* * *

За завтраком снова повторил эксперимент и выпил двухпакетиковый чай; мысли стали в ряд. Сегодня, я решил, будет день важного решения, и чтобы не откладывать его – я решил. Заведу себе собаку, чтобы не свихнуться совсем. Эффект стройных от чая мыслей будет держаться недолго, а вот собака – это дисциплина и ответственность, а дисциплина и ответственность требуют постоянной концентрации. Порода значения не имеет. Мне нужна такая же застрявшая, как и я, псина, возьму из приюта ту, которая там обитает дольше всех, самую, так сказать, застрявшую. Я ведь тоже «застрявший», у нас будет много общего!

* * *

Удивительно, как мало на самом деле одному человеку нужно места для жизни. Моя квартирка до сих пор стоит полупустая. Шкафы не заполнены вещами, на кухне всего пара тарелок, но больше всего мое одиночество выдают полки для всякой милой мелочи, статуэток, стекляшек, фотографий в рамках, которые висят голые, напоминают забытые декорации. Моя квартирка пуста, как и моя жизнь. Это, конечно, во мне говорит жалость к себе, я очень люблю себя жалеть. Просто больше некому. Есть родители, но парадоксальным образом их жалость мне не нужна. Согласен, ситуация запутанная, даже дурацкая. Вот я упрекаю неведомо кого за то, что мне недодали жалости, а вот – отказываюсь не просто от жалости, а от сочувствия, чувства куда более нежного и точного, совсем родных людей. Если бы я знал, как победить эту двойственность, я бы, наверное, смог бы победить и февраль, но пока я так и не нашел к ней подхода. Как увлеченный математик, я пытаюсь, пробуя одни теории за другими, но выходит пока так себе.

Так вот: моя квартирка до сих пор стоит полупустая. Ей не хватает уюта, самой незамысловатой обжитости, признаков человеческой жизни. Пустота меня пугает, я борюсь со страхом. Разбрасываю брюки и носки, не мою тарелки сразу после еды и оставляю их в раковине, перекладываю предметы с привычных, давно отведенных им мест, на новые. Рушу симметрию (я считаю, что симметрия, как проявление порядка, есть часть чистоты), нерешительно, сдерживая порыв, сею мелкий безобидный хаос. А потом снова расставляю все как было, потому что вымученный беспорядок не делает мою квартирку более живой и более моей, он делает ее еще теснее: стены ближе, потолок ниже, двери строже. Поэтому я боюсь беспорядка даже больше пустоты, но, когда возвращается пустота, я снова боюсь ее.

Это трудно описать, но иногда мне кажется, что прозрачная, холодная пустота моей квартирки имеет плотность, и через ее незримое тело я прокладываю тоннели, по которым перехожу из кухни в комнату, из комнаты в ванную. Границы этих ходов невидимы, не ощутимы, но я могу их распознать, хотя и не смогу показать их кому-то еще. Тоннели меняют свою конфигурацию, и я не знаю зачем: когда у меня хорошее настроение (или, учитывая обстоятельства, не такое плохое, как обычно), я считаю, что для того, чтобы разнообразить мои однообразные перемещения по квартирке; когда у меня плохое настроение, я уверен, что это проделки февраля, который хочет меня еще больше запутать, мою жизнь – сделать немного чужой.

Но я все равно борюсь с пустотой, в которой живу. Некоторые вещи я разбираю на части. Вот, например, отламываю ручки от старого обогревателя, выкручиваю из него колесики, на которых он когда-то катался по квартирке, выдергиваю провод – и раскладываю его детали по отдельным полкам, как убийца-расчленитель, прячущий останки своей жертвы. Так один предмет занимает больше места, чем должен, но все равно недостаточно, чтобы заполнить пустоту хотя бы на треть, хоть бы на одну пятую. Вот я ложусь спать, как было вчера, например, и еще пару раз на прошлой неделе, и пустота ложится справа и слева от меня, молчит. Я прижимаюсь к стенке, но не могу ее ни заполнить, ни вытеснить; она все еще вокруг меня, гладит своими холодными пальцами мою шею, затылок, щеки. У нее очень много пальцев, десятки, сотни, они подвижные, неспокойные; а еще у нее есть глаза, их тоже сотни, сотни молчащих глаз, в которые я ни разу не посмотрел от страха увидеть сотни своих отражений. Сотни меня в отраженной пустоте.

Чем ниже солнце, тем царственнее пустота в моей квартирке, увереннее. Я ненавижу солнце, я писал об этом уже столько раз, но, когда я чувствую, как переламывается день, я начинаю любить солнце святой любовью жертвы, умоляющей о спасении случайного незнакомца. Но я не зря ненавижу его, моя любовь безответна, солнце заходит всегда, как офисный клерк, не задерживаясь ни минутки лишней на небе, и наступает пустота. Забавно, что для всех лето измеряется солнечными днями и градусами, а для меня минутами, когда пустота еще не съела все мое пространство. Таким образом, и в моем замкнутом, обособленном мире тоже есть своя смена сезонов. Сейчас вот осень, уверенно клонящаяся к зиме.

* * *

Есть такие светофоры, к которым всегда подходишь не вовремя. По дороге в приют все светофоры были такими: красный свет заменял извиняющийся зеленый каждый раз, когда я подходил к переходу. Как назло, сегодня лето переменилось, шел дождь, сильный и настоящий, с грозой и крупными, похожими на плевки каплями. Что может быть хуже, чем промокнуть в феврале? Ничего! Я стоял на светофорах и думал, что непременно заболею, не может такого

быть, чтобы после такого похода не заболел. «Возвращайся домой, заболеешь ведь. Сходишь за собакой в другой раз, когда погода будет лучше. Ну чего ты уперся?» – был во мне голос. Я знаю, кто говорил. Старый, уже робкий, еще не пытавшийся сбежать от февраля, но пока не до конца побежденный я. Если бы внутри меня не расправлял плечи я новый, я старый легко бы убедил меня. Я старый, я предположу, даже не догадался бы никогда взять себе собаку. Но все поменялось, и я гордо медленно пропитывался дождем, показывая февралю, что теперь – я новый.

* * *

Собака была маленькая, пятнистая, чистенькая, старенькая, с вислыми ушами и добрыми глазами животного, повидавшего много всякого. В приюте сказали, что не брали ее как раз из-за такого вида, слишком спокойного и немолодого; людям в собаках нужны энергичность и молодость, чтобы детям было интереснее! В приюте она провела четыре месяца и стала почти совсем незаметной. Вот пример: когда я принес ее домой, то через десять минут потерял. Не мог найти, хотя она все время сидела у холодильника, не шевелясь и молча. Я назвал ее Тиш, сокращенно от тишины.

* * *

С собакой жизнь, конечно, поменялась. Приходится раньше вставать и выходить из дома два раза в день. Не знаю, был ли я к этому готов, но пока интересность нового, неизведанного распорядка жизни перевешивает его утомительность.

* * *

Тиш так меня занимает каждый день, что времени на то, чтобы сесть и записать что-то, не остается никакого. Только совсем кратко: день был нормальный.

* * *

День был нормальный.

* * *

День был средний.

* * *

День был нормальный.

* * *

День, ничем не отличающийся от других.

* * *

Просто день.

* * *

Еще день.

* * *

Несколько дней я не вел совсем никаких записей. Посмотрел и понял, что писать не о чем и незачем. К собаке я привык, но пока не могу понять, привыкла ли она ко мне. Думаю, что после незаметной жизни в приюте быть центром моей квартирки ей непривычно, тем более что Тиш – собака скромная. Даже когда я пропустил несколько прогулок, она никак не показала своего недовольства, ее глаза все так же смотрели с тихой добротой, заменяющей ей, похоже, искреннюю любовь.

* * *

Воспользовавшись кротостью Тиш, пропустил еще несколько прогулок. Все эти взгляды в парке, на улице стали меня совсем уж раздражать. Я думал, что чем чаще буду с ними сталкиваться, тем быстрее привыкну, но пока не привыкаю и не знаю, можно ли к такому привыкнуть вообще. Раньше, когда я выходил из дома редко, такие взгляды тоже были редкостью и я забывал их легко, но теперь как их забудешь, если они – каждый день. И каждый день все недовольнее. Мол, мы на него смотрим и смотрим, а он все ходит и ходит, вот же тупица!

* * *

У собаки нервный срыв. Мы с ней воем на луну – июююююль! И-и-и-иоууууль! Потому что по календарю все больше расползается июль, а мы все больше сидим дома, а собака – моя милая покорная Тиш – все стоит у окна: в доме ей то ли слишком холодно от меня, то ли слишком душно от сменяющих друг друга обогревателей. Я устаю выть раньше, из-за простой человеческой непривычки к этому делу, очевидно, а собака моя – неутомимый виртуоз воя. Чтобы не мешать соседям (только их жалоб мне не хватало), я уговорил Тиш выть потише, но совсем выть она так и не перестала. Бывает, что днем разойдется: ИЮЛЬ, ИЮЛЬ, ИЮЮЮЮЛЬ! А к вечеру, после долгих моих почти слезных просьб, притихает до: июль, июль, июль. Иногда даже до: июль, июль, июль. И никому за стенами моей квартирки не слышен этот июльский вой, а мне… а я… а я привык к этой ниточке звука, на которой теперь висит мой день.

Но иногда ниточка становится страшнее ножа. Я помню, как в детстве мама разрезала продольно корж для торта на две части ниткой. Бывают дни, когда моя голова становится как тот корж (мне почему-то он всегда видится шоколадным), а вой Тиш – той ловкой, острой ниткой. Тогда я набрасываюсь на собаку с одним, постоянно одним и тем же вопросом: «Но что ты воешь, скажи уже что-нибудь!» Разве может животное ответить что-то человеку? Вот и Тиш молчит сообразно своему имени. Молчит, смотрит как-то непонятно, будто передает вину от себя мне, а потом снова выводит свой «июль, июль, июль». Ясно, что собаке нужно чаще бывать на свежем воздухе. А мне?

* * *

В нервном срыве наступила пауза, наступила тишина. Город притих, все разъехались; выдохлась от бесконечного воя моя собака; в голове у меня мысли слегли от переутомления; все разом как-то надоело. Я решил не записывать дальше (и тут же перечеркнул свое решение, сев записать, что я решил больше ничего не писать; невероятной силы воли человек!), а перечитать, что было написано уже. Внезапно понял: меня тошнит от слов, их так много. Они везде. На вывесках, на документах, по телевизору, на еде, на ярлыках одежды, в книгах, само собой, на микроволновке, на циферблате часов, в моем телефоне, в моей голове, в моих записях. Везде-везде эти слова и буквы, их так много, а я еще больше их пложу. Но я отказываюсь верить, что я мог все это (вот это все, тысячи слов, десятки тысяч букв) написать! Я отрекаюсь от этих слов! Отрекаюсь! Они мне не друзья, не дети, не проводники, не соседи и не призраки моей души! Я не знаю и не признаю их, они мне не нужны. Господи, сколько шуму я наделал ими у себя в голове. Стравливал их, заставлял биться десятки за звание одного – лучшего – слова, а потом выбирал подложных победителей, отправляя настоящие – честные, чистые, простые и точные – слова в конец очереди. У меня в голове они толкаются во все стороны, я выбрасываю их на бумагу, чтобы избавиться от лишнего давления в черепе, и тем самым шум из моей головы проливается наружу, в мою холодную квартирку, и начинает лишать меня пространства жизни. Надо, наверное, прекратить. Пока есть шанс, перетишье, пока притих город, устала собака, переутомились мысли. Нужно придумать, как заткнуть собственную голову, но как придумать – если думать нельзя?

* * *

Все решилось само собой. Пока я думал, не думая, как думать, не думая, у собаки снова случился нервный срыв, снова вой у окна, на луну, на июль, на меня. Иногда я тоже подвываю, но Тиш уже от этого не легче. Она все еще тиха, но всю вину из своего взгляда уже переложила на меня; смотреть на меня ей больше незачем. Надо было думать раньше, а я был слишком увлечен собственной решимостью, внезапно разогнувшимся эгоизмом. Я еще нахожу для себя какие-то отговорки не ходить на улицу, не выгуливать животное, но отговорки для собаки у меня уже давно закончились. Кормить ее, выть с ней, безнадежно пялиться в окно – это одно дело, приятное и не хлопотное. Другое совсем – выгуливать собаку. За окном такой, зараза, красивый июль, весь с картинки, звенящий от красок и идеального неба, что я не смогу удержать Тиш. Либо она убежит (сегодня я видел ее у двери, очевидно пытающейся проделать в ней проход), либо я уморю ее в заточении. И тогда я стану для нее таким же мучителем, каким стал для меня февраль. Я не могу так поступить, не для того я сбегал (или просто бегал?) от него, чтобы стать им.

Кто-то подсунул под дверь рекламку собрания каких-то календаристов. Там-то, тогда-то. Будут Май, Октябрь, Июль, может быть, придут Четверг и какой-то неопределенный год. Чушь, пожалуй, но я схожу.

* * *

Чтобы самому не стать февралем, мне приходится развлекать собаку. Теперь я хожу с ней, как и всякий, у кого есть собака, два раза в день на прогулки. Я хожу с ней в парк недалеко от дома. Я бы не ходил с ней именно в этот парк, но все остальные еще дальше, а мне не хочется,

мне неприятно таскаться далеко. Что сказать об этом парке: он тот же самый, в который я ходил на редкие прогулки, когда у меня еще не было собаки. Это тот парк, где меня принимают за бездомного, где взрослые что-то невидимо и неслышно шепчут детям, когда видят меня. Я не вижу и не слышу, что они шепчут, но догадываюсь и так: не подходи к дяде, дядя странный, на улице июль, а он укутан так, будто бы февраль; все это не к добру, не подходи к дяде, дядя странный, странный – значит нехороший. Вот такой я нехороший – без всяких обоснований этого утверждения, кроме странного внешнего вида, – дядя в этом парке.

Теперь я стал гулять с собакой, и мнение обо мне, похоже, слегка изменилось. Судя по взглядам, я остался странным дядей, но собака перевела меня в разряд безобидных чудиков. Думаю, выгуливай я большого пса какой-нибудь породы, которую обычно связывают с жестокостью, я бы сразу из нехорошего дяди стал бы откровенно опасным, но моя маленькая, не юная, привязанная ко мне (как же я благодарен ей за это чудо!) Тиш сделала меня жалким одиночкой, жизнь которого не сложилась из-за кучи мелких, но, будем откровенны, безобидных отклонений. Посмотрите, у него есть собака! Определенно, дворняга, но довольная тем, как складывается под его присмотром остаток ее не слишком до этого радостной жизни! Есть, есть, значит, в нем что-то хорошее, проявление уважение к жизни, такой не обидит живое существо. Но держаться от него лучше все равно подальше. Особенно детям. Ну хоть так. Какое-то разнообразие среди мелкого каждодневного злобствования – мелкая жиденькая жалость.

Из-за смены взглядов на меня (некоторый общественно-политический подтекст этого словосочетания мне кажется здесь даже уместным) я заметил любопытную вещь. Я не мог на них повлиять сам, без собаки, но они влияли и продолжают влиять на меня: я становлюсь теми взглядами, которыми люди на меня смотрят (но видят ли?). Злые – злой, осуждающие – осуждающим в ответ, жалеющие – жалким. Последние – самые тяжелые, от них я в лучшем случае ощущаю, как мои ноги и руки тяжелеют, холодеют и стареют, а голова отрывается от тела и улетает, улетает, улетает куда-то далеко, в неразборчиво нарисованное спасительное одинокое место, но на самом деле остается на месте и терпит, терпит, терпит своими глазами, своими ушами и мозгом внутри нее всю эту клеймящую, выносящую слепой приговор жалость.

* * *

В ответ на такие взгляды я пытаюсь придумать что-нибудь обидное про тех, кто на меня пялится. Вот, например, я вижу, как смотрит и отворачивается, смотрит и отворачивается молодая пара (муж чуть постарше, но уже безжизненный и похож на заветрившийся кусок теста, жена совсем молоденькая, но вся иссушенная мелочными истериками) с маленьким ребенком (наверняка этот комок теста, такой же, как и его папа, еще не может говорить, только требовательно агукает и пускает в штаны из-за отсутствия должного воспитания). Они разные, но взгляды их одинаковы, даже больше – это один взгляд на двоих, у них четыре глаза (разные по цвету, форме, недостаткам зрения и возможности держаться открытыми; у мужа, наверное, дистрофия мышц век, судя по тому, что его глаза все время прикрыты, как у сонного), но мозги у них одинаковой серии, одной модели, ну или, по крайней мере, две части одного целого. В данном случае это не тошнотворный романтический комплимент, это выражение ужаса, потому что только собранный целиком этот один мозг на двоих начинает работать в полную (не)мощность. Он как пылесос всасывает в себя весь мир, по кусочкам, надсадно, забиваясь и периодически требуя прочистки, а назад выплевывает только непонимание и осуждение, из этого непонимания рождающееся.

Они осуждают меня, потому что не понимают и даже не представляют, как это возможно – застрять в каком-то одном месяце, словно кто-то выдрал из календаря все остальные. Больше того, я думаю, они вообще мало что понимают, эти сонный полутруп и неврастеничка. Сама жизнь для них – большой непонятный монстр, собранный из тысяч незнакомых частей. Я в ответ осуждаю их, но я убежден, что мое осуждение происходит от полного понимания их жизней. Наверное, я ошибаюсь, может, я так же глуп и напуган непониманием, как и они, но мне же надо сначала как-то защититься, а потом эту защиту оправдать.

Хотя что я понимаю! Вот вчера (а может, и позавчера или на прошлой неделе, когда дни похожи один на другой, один от другого очень трудно отличить) на меня смотрела с жалостью девочка лет пяти-шести. Неиспорченное дитя, отбившееся от скамейки со взрослыми, занятыми взрослыми разговорами («А он…», «А она…», «Это все деньги…», «Так всегда и бывает…», «Ну а что ты хотела…», «Какая же все-таки сволочь!»). Она играла со своей тенью: заставляла ее сливаться с тенью огромного дерева, потом тень девочки бродила, неотличимая, по тени дерева, затем наконец отделилась и хлопала в ладоши, а девочка что-то тихо пищала. Со стороны игра была однообразная и малопонятная, но девочка все отправляла свою тень путешествовать по другим теням («Надо найти выход и вернуться назад день в день, тень в тень!» – такая нелепица звучала у меня в голове), и кто знает, какие приключения ей там выпадали.

Я стараюсь не смотреть на детей, какими бы странными ни были они сами и их игры. Я, разумеется, не смотрю на детей специально, но очень часто они источники шума, который невозможно не замечать. Иногда они так сильно отличаются от взрослых, что мимо этой несхожести нельзя пройти. Но я стараюсь не смотреть на детей, потому что знаю, как я сам смотрюсь со стороны, тут нет нужды повторяться. Я не смотрю на детей, потому что боюсь за себя, вот и все. Но игра этой девочки была необычной, а ее мама так была увлечена разговором с другой женщиной (сестра, подруга или – пикантный поворот сюжета жизни – любовница), что я осмелел и присмотрелся.

Эта девочка очень необычная, думал я. Другим детям нужны игрушки, хотя бы самая простая лопатка, другие дети, взрослые, площадки и аттракционы, чтобы развлекать себя игрой, а этой не нужно ничего, кроме ее воображения. Она одна, но ничего не боится, и в том, как сливаются и распадаются ее тень и тень дерева, есть что-то тревожное, проблеск жизненной тайны, к которой никак не подступиться даже взрослому. Но она не боится! Она играла, не обращая ни на кого внимания, не догадываясь, что в тот момент она была моим маленьким героем. А потом она резко бросила играть, как это часто бывает (бывает же? Почем мне знать!) с детьми. Похлопала в ладоши, как и до этого, внезапно задумалась и прекратила. Перемена была слишком быстрой, и я не успел отвести взгляда от девочки; она заметила, что я на нее смотрю.

Не знаю, говорили ли ей взрослые, что нужно делать, если она заметит, что на нее пристально смотрит незнакомец. Но она не отвела глаз, не испугалась, спокойно смотрела в ответ – с жалостью, на которую способен только ребенок: честной, глубокой и стремительной. А потом отвернулась и побежала к скамейке с мамой (и маминой сестрой, подругой, любовницей), наверняка забыв про тени, странного дядю и жалость к нему. Но ее взгляд еще долго держался на мне.

* * *

Среди всех этих взглядов есть один как будто даже заинтересованный, не осуждающий и не жалеющий, но тоже по-своему неприятный. Будто я еще не открытая наукой букашка, попавшаяся на глаза энтомологу, который пока не уверен – отклонение ли я в уже известном виде или совсем новый вид. Этот взгляд я встречаю все чаще в последнее время, и он принадлежит одному человеку. Такому среднего роста кучерявому блондину с орлиным носом и постоянным серым объемным шарфом, небрежно (но видно – старался) намотанным вокруг шеи. Для июля жарковато, не по погоде, но все равно не так тепло, как одеваюсь я сам. И вообще одежда этого энтомолога (я понятия не имею, кто он на самом деле) слишком модная и даже немного вычурная, так что, наверное, это просто модник, который готов терпеть неудобства только ради того, чтобы выделяться.

Раньше я его не замечал, но теперь – он в парке всегда. Я убеждаю себя, что в этом ничего удивительного нет. Я ведь хожу в парк каждый день, а раньше бывал редко и оттого и не замечал этого, в шарфе. Может, все было наоборот: он ходил в парк каждый день еще до того, как я завел Тиш, и не замечал меня, потому что я – ходил редко. В любом случае, чтобы не смущать себя подобными рассуждениями не тему, кто был в парке раньше – я или он, я лучше сменю время прогулок с Тиш. К жалости я привык, но смогу ли привыкнуть к интересу?

* * *

Несколько дней все шло хорошо. Я не пересекался с незнакомцем с орлиным носом. Я даже начал забывать о нем, хотя голова у меня как сонная деревня: любое изменение в окружающем мире откладывается и бурлит в ней по нескольку дней, пока от него не останутся только белые-белые, отполированные бесконечными обсуждениями кости. Но сегодня он снова появился: все тот же осенний шарф в июле, тот же ядовитый нос, только взгляд теперь другой – будто бы удостоверившийся в чем-то.

* * *

Бывать в парке для меня все невыносимей. Этот нос в шарфе, который, я уже уверен, следит за мной: куда я, туда и он; эти взгляды, моя собака, которой недостаточно тех прогулок, на которые я ее вывожу каждый день, ей нужно все дольше и дольше. Откуда столько прыти в этом дряхлом тельце! Я думаю вернуть ее в приют. Не будет ее – не станет и этих вылазок в парк, я снова буду один и вокруг меня будет тишь, а не Тиш. Но эта чертова собака привязалась ко мне, после каждой прогулки смотрит на меня почти человеческими глазами, такими радостными и благодарными. Я чувствую, для нее я из мучителя-февраля превратился в неопределенный летний месяц или, что скорее, учитывая ее возраст, теплый, еще не расставшийся с солнцем и зелеными листьями сентябрь. Я задаю себе вопрос: а готов ли я к такому? И не могу найти ответа. Собачья благодарность иногда усмиряет мою жалость к себе, но ненадолго. Пара прогулок по полчаса в день – вот и все периоды затишья или за-Тиш-ья, а все остальные часы (иногда даже часы сна, ведь нельзя забывать о том, что мое сознание не успокаивается, даже когда я вроде бы сплю) вина и жалость к себе спорят за право обладать мной.

* * *

Наверное, я все же верну Тиш в приют. Будет еще один мой, после провальной попытки сбежать в другой город, провальный проект. Тогда я спасал себя, потом я спасал животное (а на самом-то деле снова спасал себя), но ничего так и не вышло. Почему-то даже не жаль. Наверное, я скоро смирюсь с неудачами. За окном сегодня, кстати, редкий этим летом паршивый день. Весь день льет, под вечер была гроза, ветер снес несколько веток у деревьев во дворе. Одна даже распласталась осьминогом минут на пять на моем окне и царапала стекла, словно просилась внутрь, напугала собаку. Тиш, трусиха, ластилась ко мне, просила защиты, строила милые, беззащитные мордочки, прижимала уши и тихо, дисциплинированно скулила. Я замечал, но делал вид, что не замечал. Пил, отвернувшись, кофе и имитировал как мог потерю интереса к животному. Мне, конечно, ее жаль. Февраль очерствил мое сердце, но не лишил меня его окончательно. Так будет лучше. Пусть наши последние дни с Тиш будут плохими, неловкими, разделенными. Пусть запомнит своего хозяина таким, окруженным забором самовлюбленности, через который ее короткие лапки не смогут ее перекинуть. Я чувствую, что поступаю неправильно, но что я могу с собой поделать? Почему я обращаюсь с собакой так, будто она человек? Чтобы мне легче было издеваться над ней? Но зачем?

* * *

Сегодня опять ходил в приют, возвращал собаку. Больше никаких прогулок в парке. В приюте смотрели на меня, как на живодера, как на демона, на предателя родины, на растлителя и поджигателя, на негодяя, мерзавца, обманщика с потухшей и протухшей душой. Но делали все очень профессионально: не убеждали, не уговаривали, не осуждали, не повышали голос, только смотрели огненными глазами, надеялись, видно, разжечь мою душу заново. Но ничего не вышло, я оформил бумаги, кивнул, промямлил прощание, на которое, к моему удивлению, ответили (с профессиональным холодом с голосе), запутался на выходе, вышел не в ту дверь, задел косяк, вернулся снова, снова был окинут огненным взглядом (душу мою, охваченную февралем, огонь так и не взял) и вышел, наконец, в нужную дверь.

До дома я шел в легком помутнении, выражавшемся такими симптомами: какое-то время я почти не чувствовал температуры, не было ни холодно и ни жарко, а как-то просто было; солнечный свет отчетливо делился на лучи; лучи был похожи на длинные измятые целлофановые пакеты; прохожие на меня почему-то не смотрели, но я их замечал – их было много, и они постоянно менялись лицами. В таком состоянии я даже не заметил, как пошел домой через парк, хотя он был мне не по пути. Такие глупости это все, конечно, но все же так все и было. В парке я присел на скамейку, не глядя, не отдавая себе отчет, стараясь только отстраниться от лицекружения со всех сторон. Оказалось, что я сел напротив единственного лица, которое оставалось на своем месте, никуда не плыло и нигде больше не повторялось. Лицо было знакомое, но узнал я его не сразу – с убедившимся взглядом, орлиным носом, светлыми кудрями над и объемным шарфом под ним. Лицо было довольное, и мне от этого было неприятно. Я посмотрел в него, постаравшись придать глазам настроение осуждающего просверливания, но лицо от этого стало только еще довольнее. Не выдержав, я встал и пошел домой (от волнения пройдя сначала не в ту сторону), чувствуя, как лицо цепляется за мои плечи, пытается развернуть мои глаза к своим.

* * *

Без Тиш стало тихо и однообразно, как я и хотел, но хотел ли – так? Мне хватает еды, чтобы не выходить из дома пару дней, если лежать и не делать совсем ничего, экономить силы, то дня на три, хотя воспоминания об эксперименте с растягиванием рациона слишком страшит меня, чтобы попробовать что-то подобное еще раз. Кроме еды, выходить мне незачем: все улицы вокруг дома я уже исходил; в парке, теперь без собаки, я опять стану мишенью для колких, царапающих взглядов. Еще, поди, подумают, что я собаку съел или просто замучил (и не надо было его (меня) жалеть, когда собака была – ясно же, что такие, как он (я), животных заводят не просто так, а ради какой-то зловещей цели, непонятной нормальным людям со стройным взглядом на мир), и взгляды будут вдвойне-втройне колоть и царапать, как бы компенсируя прежнюю, по недомыслию, жалость. В общем, сегодня я весь день провел дома, рассуждая о прошлом, которое увел на поводке, и ужасаясь настоящему, от которого прятался за четырьмя стенами. Завтра, уверен, проведу так же.

* * *

Ура! Ура! Моя уверенность меня не обманула. На часах уже полночь, а я так никуда и не выходил, просидел весь день дома – как и догадывался накануне. Играть с собой в поддавки может иногда быть интересно.

* * *

Сегодня день начинался как обычно, по крайней мере я проснулся с чувством, что все будет как обычно. На улице было обычное солнце, такое же радостное и приколоченное, как почти всегда этим летом, соседи в точности выполняли свой будничный ритуал, рассчитав, кажется, на каждое действие идеальное количество шагов и жестов, на каждое приветствие – идеальное количество слов, сказанное с необходимыми паузами между ними; улыбки – выверенные по времени и ширине; глаза – демонстрируют достаточную, но не чрезмерную радость дню, солнцу, добрососедству, непрерывности пусть не самой счастливой, но точно не несчастной жизни. День начинался механически обычно, день начинался отвратительно. Я рассчитывал, что он так и пройдет, прольется небурно, незаметно, но случился сюрприз.

Мне под дверь подсунули рекламку. «Собрание календаристов. Там-то, завтра. Вы приглашены. Приходите. Очень ждем» – на одной стороне. «Будут Май, Июль, Октябрь и Четверг» – на другой стороне. Не какой-то яркий буклет, а просто глянцевый лист размером с книжную страницу с черными, простыми, крупными буквами. Никакого дополнительного оформления, только черные буквы на белом, будто личное, мне именно адресованное письмо, а не рекламка. Первая мысль: какая глупость, что за слово – календаристы! Оставьте человека в покое! Мысль следующая: как-то мой февраль вписывается в этот короткий список месяцев и дня недели. Мысль вдогонку: никуда я не пойду. И я, конечно, никуда не пошел, а сел думать – идти или не идти. Пока думал, никуда не пошел.

* * *

Сегодня опять под дверью лежала рекламка. «Собрание календаристов. Там же, завтра. Вы приглашены. Не пожалеете. Ждем». Списка участников не было. Забавно, что теперь меня

там не очень ждут, а просто ждут, но обращение стало более личным – «не пожалеете». Ну, раз просто ждут, то не дождутся. Завтра не пойду.

* * *

Не пошел.

* * *

Опять записка (быстро же я сменил рекламку на записку). «Собрание календаристов. Там же, в то же время. Приходи. Очень ждем». Так-так, опять ждут – очень, но теперь уже зазывают не на «вы», а просто – приходи. Какое детское непостоянство, какая ребячливая секретность! Но так интересно, так живо, что все мысли заняты только этой игрой, а я не сомневаюсь, что это игра. Но насколько безобидная, пока неизвестно.

* * *

Я решил внести свой вклад в эту игру. В конце концов, эти календаристы (какое все же нелепое слово) знают меня, но я – пока, только пока! – не знаю их. Сегодня я встал в восемь утра, а записка уже была под дверью. Значит, завтра встану в шесть и сразу к двери – наблюдать ее появление. План таков: как только записка просовывается неизвестным гонцом под дверь, я распахиваю ее и хватаю гонца за руку. Ну, или завожу знакомство более мирным способом.

* * *

Проснулся по будильнику – в 5:55, но записка уже лежала. Содержание все то же, с незначительными изменениями. Главное: приходите, приходи. Наверное, будильник спугнул кого-то их этих календаристов, он у меня очень громкий. Надо отдать должное, человек, принесший записку, очень ловок и быстр. Убивал будильник я несколько секунд (не больше десяти), до двери бежал, падал и полз еще секунд пять. За это время неизвестный календарист успел подложить записку и скрыться. Когда я открыл дверь (провозился с замком еще пять секунд), в коридоре уже никого не было. Ставки повышаются. На их скорость я отвечу своим терпением. Сегодня не буду ложиться, погашу свет, задерну занавески и буду караулить у окна всех, кто будет подходить к дому ночью.

* * *

Я лежал на диване и вспоминал запах ее простого городского платья. Трудно сказать, чего в нем было больше – запаха ее или платья; какого оно было цвета, мне тоже помнилось плохо. Пусть желтого, слабого-слабого, по оттенку высосанного солнцем желтого цвета. Я помнил плохо, но чувствовал по-настоящему.

Мы гуляли. Ночь дышала фиолетовым цветом, в котором можно, если вглядеться, увидеть что-то хорошее и что-то плохое. Мне всегда проще увидеть плохое, так устроены мои глаза. Ее глаза, к моим бесконечным вздохам, устроены иначе. Была ли ночь для нее такой же не-черной я уже не/у/знаю. Мы гуляли по городу, пока луна не стала скучной, и круглой, и заляпанно-белой, как тарелка, с которой только что взяли последний кусок. Ветер, седой

на фоне фиолетового неба, принес откуда-то обрывки молитвы или заклинания, и я заснул у черных ворот неизвестного дома.

Проснулся я на ходу. Один. Я ехал на велосипеде, старом и красном, мимо слипшихся высоких домов, и солнце светило всеми оттенками желтого, отобранного у ее платья, а кошмар все пытался затянуть меня, подцеплял пальцами, как крюками, мой затылок. И тянул, тянул. Я помнил плохо, но чувствовал по-настоящему.

Кошмар устал и отвалился, меня замучила жажда, я остановился у первого попавшегося кафе выпить кофе. Кофе был в кафе, кафе было на улице, улица была в городе, город был на карте, карта была под небом, которое было тогда фиолетового цвета и с тарелкой, а теперь цвета ее платья с растворенным в нем солнцем. Я проехал под одним небом, чтобы через карту, город, улицу и кафе уже под другим небом добраться до кофе. Это казалось мне важным, мой путь казался космическим. Но кофе в кафе не было, и мне пришлось избавиться от жажды, так ничего и не выпив. Пока я ничего не пил, мой велосипед, все тот же, но немного уже другой – красный и старый, – пытались украсть три обезьяны. Я видел их в окно, солнце их не смущало. Дикари.

Три обезьяны оказались костюмами. Праздничными, невеселыми костюмами с невеселыми, будничными людьми в них. Я определил это по их невидным глазам. Я успел и не успел. Люди-обезьяны не смогли украсть велосипед, снова старый и красный от их плохо сшитых лап, но смогли его поломать. Они толкали меня, и бросали на асфальт, и не давали подняться, и солнце их не смущало. Потом им надоело делать одно и то же и по моему лицу они поняли, что мне надоело тоже. Костюмы стали убегать, и я побежал за ними.

Они бежали по улицам, тесным, как коридоры, в которые даже солнце не могло толком заглянуть. Оборачивались и кричали мне что-то хорошее и что-то плохое. Мне всегда проще услышать плохое, так устроены мои уши. Ее уши, к моим бесконечным взглядам, устроены иначе. Но ее рядом не было, рядом были – когда я их настигал, словно тянувшись к ним как к равноценной замене – только три ненастоящие обезьяны. Я помнил плохо, но чувствовал по-настоящему.

Мы забежали в место, где луна была нескучной, солнце было без костюма, мои глаза умели слышать хорошее, кофе был на карте, велосипед был не новый, но молодой, у обезьян были человеческие лица, не праздничные, но ладные, асфальт был без трещин, и я мог бежать по нему, не боясь никого убить, она была не со мной, а я был с ней, а потом я был не с ней и она была не со мной. Было все, но не было дивана и ее простого городского платья. Я помнил плохо, но чувствовал по-настоящему.

Насколько можно чувствовать настоящим то, чего не было, или то, что было подменой.

* * *

Разумеется, мне все это приснилось. Я проснулся на диване под окном, под задвинутыми занавесками, полусидя-полулежа, с головой, которая снаружи оставалась на месте, а внутри кружилась и опрокидывалась, в необъяснимой позе (какая боль в шее, в коленях, под правой лопаткой!), с ниточкой слюны, незаметно начавшей спуск с подбородка на шею. На часах было 7:32, записка – еще бы! – была на месте. Вариантов выяснить, кто ее подкладывает, у меня оставалось немного. Установить камеру (дорого). Поговорить с соседями, может, кто-то

что-то видел (невозможно). Нанять сыщика (дорого и невозможно). Караулить у окна снова (после такого сна – страшно). Уговариваю себя, что проиграть в игре против превосходящих сил соперника не зазорно. Правила были неизвестны, средства туманны, но я играл честно и с рвением. Наверное, придется идти на это собрание календаристов.

* * *

А сегодня с утра я проснулся и решил, что никуда не пойду. Принял решение пойти – и не пошел. Весело, с душой не пошел. Так не пошел, что даже мерзкое солнце за окном, кажется, подмигнуло мне, как бы одобряя мое решение, и засветило еще ярче, как не светило все лето. Пусть светит, мне не жалко и не жарко. Пусть подсвечивает мою радость! Как это легко и приятно – не идти! Вот я же пошел, даже поехал, в другой город, всякого там навидался, начувствовался, но ничего хорошего из этого не вышло. Вот я сходил в приют и взял там собаку, милую, добрую, так глупо привязавшуюся ко мне собаку. И снова получилось плохо. Так что я никуда не пойду. Если им так я интересен, нужен так, что они готовы через день мне записочки под дверь прокидывать, то пусть сами и приходят, показываются.

К тому же я догадался, кто эти люди. Я же не идиот, пусть мой ум и ослабел от постоянных заморозков, но не до клинических пропорций. Май, Июль, Октябрь, Четверг. Календаристы. Тут все ясно. Я же не идиот. Я, может, и повторяюсь, а может, и удостоверяюсь, не идиот ли я. Трудно самому себя оценивать, всегда есть риск переоценить или оценить недостаточно. Поэтому постоянно приходится перепроверять. Нет, вроде не идиот. Итак, я понял, кто эти люди. Такие же застрявшие, как и я. Даже названия для своего квартета не смогли придумать пооригинальнее. Хотя, признаю, все же лучше, чем мое «застрявшие».

Они мне не нужны. Я легко понял, кто они, и предчувствую, что легко могу себе их представить, их характеры. Май – краснобай, очень ему должно соответствовать. Красный, разговаривает лозунгами, шумный, все пытается доказать всем, что он больше из лета, чем из весны, поэтому и говорит много, ярко, не по делу, но глупцам нравится, каждая его фраза для них – плакат и истина, девиз и вектор. Ну, хорошо, у Мая есть хоть какой-то образ. А вот Четверг – он какой? Самый, наверное, нудный. Не мрачный понедельник, не полная надежд пятница, а так – просто день, неудачник: расположен посередине недели, а средней все равно считается среда (впрочем, тут не утихают споры среди сторонников недели календарной и недели рабочей, позиции последних, на мой взгляд, слабее, потому что календарная неделя – с понедельника по воскресенье – одна на всех, а рабочая у многих своя, у кого-то может быть и не неделя вовсе). Да и как можно застрять в одном дне недели? Этот Четверг, он что, газеты получает только раз в неделю? Или телевизор у него показывает только те программы, что идут по четвергам? Очень неудобно так смотреть сериалы и новости, сюжет непонятен и там, и там.

С Июлем же все совсем просто. Улыбчивый, заносчивый, счастливый. Гадкий, от вечного лета загар почти черный, а волосы белые, человек-негатив. Кто бы не хотел застрять в июле! Вот в феврале бы точно никто не хотел, а в июле – пожалуйста, остальные смотрят на него с завистью и обожанием. Я уже ему завидую, надо быть честным. Что еще можно сказать про таких счастливых, упивающихся своим случайным счастьем и тут же не осознающих его людей, к которым он наверняка принадлежит? Можно корить жизнь за то, что подкинула случай им, а не тебе. Можно примерить на себя немного благородства (жмет с непривычки, не все места прикрывает) и решить – заслужили. А можно и даже нужно – завидовать. Потому что объяснений такому счастью, свалившемуся с неба, нет.

Еще Октябрь. Ни рыба ни мясо. Повезет – теплый, не повезет – багряная дорожка для зимы. Сидит и молчит в углу, забитый, затюканный, неопределившийся. Что о нем говорить?

Зачем они мне все? Такие же чудики. Только Июль, пожалуй, другой, а эти… И если быть честным до конца (после признания в зависти к Июлю, которого я даже не видел, а только выдумал его образ, честность бьет во мне фонтаном, заполняя все внутренние пустоты), в этом кружке календаристов есть что-то немного обидное. Я был и есть не как все, один в своем роде, уникальный, застрявший, поместившийся в один месяц. А выходит, что и не совсем один, и, как следствие, вовсе не уникальный. Еще как минимум четыре наберется. Даже думать так плохо, а уж записывать такие мысли совсем гадко. Это же надо – радоваться собственным мучениям! Успокаиваю себя мыслью, что людям, свободно перемещающимся по календарю, не понять, как источником страдания и гордости может быть что-то одно. До своего февраля я тоже не понимал. Буду ли понимать, если сдвинусь дальше?

* * *

Сегодня опять под дверью записка. Я прошел ту стадию, когда решимость только укрепляется, теперь воля моя слабеет и решение не идти к этим календаристам уже не кажется мне правильным и единственным. Сегодня ночью я долго не мог заснуть, все задавал себе вопросы и представлял этих несчастных, ну, кроме Июля, этот, должно быть, даже счастливый. Вот гад. Зачем я им и зачем они мне? А если они все – просто выдумка, кто-то решил меня так разыграть, придумал каких-то календаристов и теперь заманивает. Я в последнее время часто был на людях из-за собаки, вполне мог намозолить глаза каким-нибудь недалеким шутникам или даже мошенникам. Хотя зачем я сдался мошенникам, у меня ничего нет, даже жизнь моя принадлежит мне только наполовину, но они об этом могут и не догадываться.

В общем, есть два варианта. Первый: календаристы не существуют, кто-то надо мной так потешается, нужно отдать должное его или их упорству и фантазии. Человек, начисто лишенный сочувствия, не смог бы придумать такое. Если я пойду на их собрание, которое и не собрание вовсе, чем я рискую? Мне не привыкать быть объектом тихих насмешек. Это неприятно и обидно, но стерпеть можно, хотя привыкнуть нельзя. Но я никогда не был целью смеха направленного, громкого, только мной вызванного, специальной, для меня повышенной громкости. Когда я только думаю о таком, мне становится еще холоднее. Холод этот ощущается не руками и ногами, носом, ушами, а внутри, непонятным, трудно определяемым органом. И ведь я еще себя жалею, хотя терпеть не могу жалость, а этот или эти молодчик/молодчики жалеть наверняка не будут. Но цель их – шутка, пусть злая, но шутка, если бы они хотели навредить мне физически, то давно бы так и поступили. Я одинок и физически жалок, даже слишком легкая добыча.

Второй вариант: эти календаристы, которых мне все время хочется назвать почему-то калеками, есть общность у этих слов – календаристы и калеки, действительно существуют и хотят видеть меня всерьез и по-настоящему. К чему тогда такая таинственность? Почему бы просто не прийти и не пригласить на встречу? Сказать, мол, мы что-то вроде анонимных алкоголиков, собираемся вместе и обсуждаем свои проблемы, вы тоже приходите, мы же видим – вы один из нас. У нас есть специальная программа «10 шагов» (12, 30, 365/366, не важно), благодаря которой вы выберетесь из того месяца, в котором застряли. Впрочем, если бы программа работала, они назывались бы своими человеческими именами, а не месяцами. Надеюсь, эти невзрослые секреты просто от застенчивости. Я люблю застенчивых людей, мне с ними легко.

* * *

Вчера я убедил себя не ходить и даже заснул хорошо, крепко. А сегодня нас проснулось двое. Большой я, ленивый, трусливый, вмерзший в жизнь, и внутри меня – маленький я, почти дитя, еще надеющийся, капельку даже деятельный, которому очень хочется пойти, повидаться с этими незнакомыми, но по стечению обстоятельств такими близкими, ближе невозможно, людьми. И весь день маленький я рос непонятно почему, все окрашивал своей надеждой, своей наивной честной дерзостью. Как, почему? Я не знаю. Может, пока я спал, что-то внутри меня сломалось или, наоборот, встало на место, и проснулся этот второй я. К концу дня второй я дорос до размеров первого я. Они разместились во мне поровну, один – с охапкой сомнений и хмурых мыслей, другой – с легкими мыслями и легкими ногами, готовыми сорваться и бежать к этим календаристам когда угодно. Я в борьбу я вмешиваться не стал. За ночь разберутся. Пойду спать, а завтра поступлю, как наутро решит победитель.

* * *

Думал сегодня вообще ничего не записывать. Уже два часа ночи, а я все не сплю, не могу, как это говорится, найти себя места – в буквальном смысле. В кресле неудобно, на подоконнике тоже, лежать тело не хочет, сразу затекает то в шее, то в боку, от стояния начинает болеть поясница, все никак не пристроюсь в пространстве собственной квартирки, каждый угол которой знаю до самой мелкой отвратительной детали. Сидеть не могу, стоять не могу, когда хожу – только завожусь еще больше, то ли бегаю наперегонки с собственными мыслями, то ли пытаюсь убежать от них; а это все же разные вещи, хотя и то и другое объединяет некая соревновательность. Ну вот! Даже записать ничего не могу, все путается, начинаю с одного и заканчиваю другим.

Наверное, лучше всего будет записать все в хронологическом порядке, как было. Буду писать неспешно, буду сопротивляться бурному потоку мыслечувств; потому что за каждой мыслью – чувство, а за каждым чувством – мысль. Опять я сбиваюсь, черт побери! Итак.

Итак. Я проснулся как обычно. Все было на месте: руки на месте, голова на месте, нос, шапка, носки, пальцы, интересующееся солнце за окном. Кофейная чашка была на столе, хотя мне помнилось, что вечером я убирал ее в шкаф, но уверен быть не могу. В любом случае все остальное было на своих привычных местах, поток жизни, прерванный моим сном, возобновился с того же места, день покорно не обещал ничего из того, что я сам не определю, день ждал моей воли. Я прислушался к себе. За ночь маленький и решительный я вырос и окреп, стал внутри меня главным и ровным тоном как бы говорил мне: иди, иди. Я решил его проверить, стал затягивать время, проверяя его настойчивость. Выпил кофе – иди, иди. Постоял у окна, злясь на солнце, – иди, иди. Солнце отогревало во мне знакомые, надоевшие злые мысли, но тон не менялся – иди, иди. Я чистил зубы, задумчиво, пальцами далеко отодвигая губы, проверяя, оценивая, очень долго – иди, иди. Устроил внеплановую инспекцию обогревателей – иди, иди. Тон не слабел, в нем даже появилась новая сила, почти гипнотизирующая. Стал одеваться теплее обычного… В общем, я тянул время, уже зная, что мне не отвертеться и я заставлю себя пойти на встречу календаристов.

Я проверил адрес. Далеко. В той части города, где я редко бывал еще до того, как наступил февраль. Пришлось ехать на метро. Это было, как ни странно, первое приятное событие дня. Оказывается, метро я люблю. Оказывается, в нем нет разницы между февралем и летом,

всегда жарко и душно. Я даже снял шапку и расстегнул куртку, чего со мной уже давно, даже давным-давно не случалось. Я наслаждался тем, что стал хоть немного ближе к людям в кричаще летней одежде. Закончилось все, впрочем, довольно быстро. Как было наивно думать, что могло быть иначе. Несколько раз меня пытались сфотографировать, кто украдкой, кто не таясь – смотрите, человек в метро, летом, в жару, в зимней одежде!

Я думал выйти, надеть шапку, натянуть ее на самые глаза, застегнуть куртку и бежать домой, никакого метро, только по самым безлюдным улицам – подальше от этого бесцеремонного внимания, от смеха и шушуканья, от настойчивых календаристов и их дурацких собраний, оставить где-нибудь под кустом пустую надежду, пусть погибает, не жалко, лишь бы отвязалась от меня. Это во мне бунтовал вчерашний я, трусливый и безнадежный, пытался снова занять меня целиком и вернуть власть. Но не вышло. Не знаю как, но не вышло. Сегодняшний я был все еще больше и сильней. И я доехал до самого места: глаза в пол, перебегая из вагона в вагон при малейшем подозрении, что кто-то хочет меня сфотографировать. Пару раз я не успевал: двери захлопывались у меня перед носом. Тогда старый я дико радовался: это знак, знак, поворачивай назад! Но новый я отмахивался: иди, иди. На станции пересадки просидел на скамейке несколько минут, пока на каждый знак было свое «иди». Перешел на нужную линию, но сел на поезд в другую сторону, проехал три лишние станции. Вернулся, поехал куда надо, совсем уже издерганный, даже шарф ослабил. Доехал, наконец.

Я вышел из метро в давно забытом районе. Посмотрел на часы: я ехал дольше, чем рассчитывал, до собрания оставалось меньше получаса. Не успею – знак. Тут недалеко – иди. Постоял, потратил еще две-три минуты. Знак. Стало холодно, я совсем забыл, что куртка расстегнута, а шапка в кармане. Иди. Хочешь мерзнуть так всегда? Иди!

* * *

Идти было неуютно, все время было чувство, что кто-то сидит у меня на плечах, маленький, вертлявый, и не дает разогнуться. Заболела спина, загорелись под шапкой уши. Хотелось сбросить эту невидимую мартышку или черта вместе с пуховиком, со всем весом одежды прямо тут, на улице, расправиться и как птица улететь подальше от всего этого. Чего этого? Куда улететь? Это я спрашивал сам себя. Но вот что странно, вопросы есть, а ответов на них нет, хотя подразумевается (опять вопрос – кем?), что если я сам себя экзаменую, то к вопросам должны прилагаться ответы, но их нет. И я все шел, и улицы, город стали как бы приснившиеся, укрытые невидимой, но ощущаемой вуалью, существующие отдельно друг от друга. Как во сне: предмет существует, только пока на него смотришь. Я шел не оборачиваясь, что было сложно в незнакомом районе, потому что боялся, что за мной ничего уже нет, и уговаривал себя, что нельзя посмотреть на то, что уже было видено.

В общем, я дошел до места. Вспомнил, что район-то знакомый и не такой уж далекий от дома, просто я всегда заходил в него с другой стороны, другими улицами, другими путями. Сердце немного разжалось, солнце немного выдохнуло. Мартышка на плечах стала легче и спокойнее. Маленький двор, тихий, тенистый, видно, что люди живут здесь немного сами по себе. Вон – город, а вот – двор. Во дворе, окруженный зданиями побольше, стоит по-быстренькому отреставрированный домик, построенный, наверное, в 50-х или 60-х, но по замыслу архитектора выдаваемый за более старый и благородный. Три этажа, а может, два. Запомню в следующий раз. Вот так сам себя открываю: «в следующий раз» – оказывается, я уже решил, что пойду на следующее заседание календаристов.

Оказалось, что это маленькая гостиница с конференц-залом на полуподвальном этаже. На входе меня встретила вся какая-то неопределенная девушка, то ли худенькая, то ли пухлая, вежливая и раздражительная сразу, в свеженькой, только-только из стирки, белой сорочке с двумя неприятными пятнами на воротничке, с благородными губами и по-деревенски тяжеловатым носом. Спросила, что мне нужно. Не удивилась, когда я ответил (а объяснение у меня было путаное, замямленное, стыдно было признаться, кого и зачем ищу). Сказала, как пройти, но не проводила и никого не вызвала проводить. Я уже опаздывал на три минуты. Стало страшно: что, если я заплутаю и опоздаю еще больше? Это, разумеется, было невозможно в таком небольшом здании, но старый я, в последней попытке вернуть себе былой размер, цеплялся за все подряд, понимал, что уже проиграл. Вот лестница вниз, на удивление светлая и чистая, вот коридор, слегка больничный, все двери закрыты, кроме одной в конце. За дверью в конце зал, в нем люди, вполне обычные, кажется, они даже не говорили ни о чем, когда я пришел. Все посмотрели на меня со спокойным интересом, все были не такими, как я их себе представлял.

* * *

Мысли путаются, потому что сказано было очень много. Я привык писать, вслух молчать и говорить про себя, писать вслух, так сказать, я отвык находиться в центре разговора. Во время моего бегства я разговаривал с людьми, но очень кратко и по-деловому, больше слушал и подслушивал, не специально, но не без интереса, чужие разговоры. А тут говорили со мной, обо мне. Это так тяжело – находить, что ответить! Спрошено у меня было много, отвечено не все: многое по незнанию, что-то из-за забвения. Но появилась необходимость вспомнить, не ради себя, а чтобы ответить этим людям.

Не знаю, то ли из-за появления нового человека, то ли это у них всегда так, но говорили они очень много. Весь мир состоял из шума их слов. Стены были цвета их слов, стулья были формы их слов, в свете из низких широких окон под потолком вместо пылинок плавали слова. Я боялся, что неопределенная девушка спустится к нам и попросит меньше болтать, не тише, а именно меньше, потому что слова уже переполнили зал, как сказочная каша из горшочка, и заполняют всю гостиницу, душат гостей, выдавливают окна, галдящей массой распирают стены и захватывают тихий, тенистый дворик, срывают с неба птиц, выплескивают моря, вскрывают могилы, обрушивают небоскребы, останавливают ветер. Везде слова, слова, слова, и я растворен ими. Я в каждом слове, каждое слово во мне, это я тоже срываю, обрушиваю и выплескиваю, и сам срываюсь, рушусь и выплескиваюсь. Я – мир, а мир – слова.

* * *

А все-таки надо собраться и из этих слов, которые еще остались во мне, булькают и шипят – те, что поглупее, попроще, шепчутся или совсем молчат – те, что поумнее, надо из этих слов собрать новый мир взамен снесенного старого. Надо где-то жить, как-то оправдывать свою никчемность.

С чего же начать.

В комнате было несколько человек, они сидели в круг на складных пластмассовых стульях нерешительного коричневого оттенка, лицом друг к другу, будто на собрании анонимных алкоголиков. Как я и предполагал. Это меня обрадовало. Первое впечатление? Они мне не понравились, не потому что я сразу был захвачен их слаженной, отрепетированной по ролям

многими собраниями речью, а потому было в них что-то общее со мной. Это я тоже предполагал, но радости не почувствовал. Не в шапке дело, никто из них не носил шапок, не во внешности, они все были разные, а все же в них самих, даже вокруг них было такое, чего нельзя увидеть, а можно только почувствовать. Если вам не дано, если вы не такой, как они, проще говоря, если вы обычный человек, вы тоже почувствуете эту странность, но не почувствуете общность с ними. А вместо нее отголосок поэтической тревоги: вы стоите на берегу океана, и море перед вами – такого хмурого серого цвета, по которому не угадаешь, будет ли шторм или ничего страшного не случится и через полчаса снова покажется солнце. Вот такую тревогу вызывал бы взгляд на календаристов у обычных людей. А я чувствовал, что я с ними – одно. И это меня раздражало. Моя исключительность, которую я так берег, которой врал, что они не будут, как я, что я – не они, немножко скисла. Тут я тоже не обманулся. Счет 1:2 в пользу обидок. Захотелось уйти, выкинуть их из головы, уговорить себя, что я никого не видел, даже не ходил никуда, а просто начитался в газете перед сном дурацкой рекламы, вот и привиделась такая глупость. Но я выбрал остаться. Стоило выяснить, зачем им я, раз они потратили на меня столько усилий. О чем тут будут говорить, в чем будут убеждать меня?

Кто будет убеждать и допрашивать яростнее всех? Я вгляделся в каждого: я знаю, как я выгляжу в такие моменты, когда пытаюсь сделаться невидимкой с неощутимым взглядом – как комический шпион, который вот-вот провалит задание. Они мой взгляд, конечно, заметили, потому что тоже вглядывались, не скрываясь, но не обиделись. У всех были добрые, приглашающие глаза. Одного я узнал сразу. Тот модник из парка, с шарфиком. Все время на меня смотрел, надо было догадаться, кто он – шарфик! в июле! и теперь вспоминается – полупальто! У него взгляд был тоже приглашающий, но надменный, как у начальника, который ждал, чтобы устроить унизительную выволочку, без крика и стучащих по столу кулаков, но даже более обидную. Но другие были незнакомы, взгляды их искренни, и главное – среди них была женщина. Судя по одежде, и выяснилось позже, что я был прав – я, может, и комический шпион, но вовсе не идиот, – она была Июль. Она смотрела на меня добрее всех, сразу захотелось остаться, хотя я и корил себя за такую бесхребетность. Один взгляд – и растаял, обмальчишился, отупел. Но ведь не зря же шел!

И вот что еще. Пока я это все писал, пришла ко мне мысль. Я слишком много пишу, раньше, когда писали на бумаге, я бы написал, что дневник мой толстеет с каждым днем, и я чуть было так и не написал. Но теперь-то, когда пишут не на бумаге, записи не толстеют, а удлиняются. А смысла не особенно прибавляется, да и утомительно писать просто так, хотя и помогает – в терапевтических, так сказать целях. Попробую я поиграть сам с собой и со своими записями. Думаю, моя первая встреча с календаристами заслуживает не просто еще одной, пусть подробной, прочувствованной записи в удлиняющемся дневнике, она заслуживает миниьесы.

Когда я оказался в комнате, где проходила встреча, я почувствовал себя зрителем, выволоченным на сцену в середине пьесы и превращенным в актера другими участниками спектакля. Объяснение, конечно же, было проще. Так всегда себя чувствует не очень уверенный в своих общественных навыках человек, когда оказывается в эпицентре хорошо знакомых, но не потерявших друг к другу интерес людей. Они приглашают его, втягивают, дают шансы, подкидывают вопросы, очень простые, словно спрашивают ребенка, а он неловко, невпопад, с растерянной улыбкой («Знаете, я, наверное, по этому вопросу ничего нового не скажу, но если вы настаиваете, то я считаю…») отвечает, не замечая, как разговор, который раньше делился, скажем, на четыре, теперь делится на пять.

Но это тогда и там я был зрителем, ставшим актером. А в сереньком уюте своей квартирки я могу позволить себе взобраться на ступеньку выше, вылупиться из актеров в режиссеры. Вот моя пьеса.

* * *

Но сначала я все же опишу ее участников, просто и привычно, потому что очень не люблю то, как это делается в пьесах, со множеством ненужных, подразумевающихся в характере персонажа, но не отыгрываемых на сцене деталей. Мне же будет проще описать календаристов так, как я их увидел в первый раз, и пусть во мне говорит напряженный, и если честно, даже немного испуганный человек, а не фантазер и прозорливец-драматург.

Тот, из парка, с шарфиком, был Октябрь, как выяснилось до конца встречи, писатель. Все время улыбался бледной, водянистой улыбкой, смотрел на всех – как бы! – свысока, но когда губы уставали держать улыбку, за ними тут же сдавались и глаза, и проявлялась в Октябре неуверенность, нервная ранимость. По большей части он вещал затасканную заумь, старательно держал себя в образе довольного жизнью человека, но игра это была только для него и меня, потому что остальные календаристы его, я догадался, давно уже раскусили. Чем-то я ему сразу не понравился, и я, не став разбираться, решил, что в ответ тоже его невзлюблю.

Был Май, высокий мужчина средних лет, немного армейского склада, стрижен бобриком. Мне он показался похожим на забор, ровный, крепкий, честный деревянный деревенский забор, за которым, если перелезть ночью и не без спросу, тебя встретят крепкие честные деревенские люди с кулаками и двустволкой. Остальные календаристы относились к нему с очевидным уважением, как к человеку, которого все хотят видеть приятелем (но не другом) и опасаются иметь во врагах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.